

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132—2095



ОГОНЁК

№ 2

1987



Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

КЛЮЧ ОТ СЕЙФА

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 2

Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

КЛЮЧ ОТ СЕЙФА

РАССКАЗЫ

*Авторизованный перевод с украинского
Изиды Новосельцевой*

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

Павло Загребельный (Павел Архитович Загребельный) родился в 1924 году в селе Солохино Кобеляцкого района Полтавской области.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1951 году окончил Днепропетровский университет.

Печатается с 1949 года. Автор повести «Дума о бессмертном» (1957), романов «Европа—45» (1959), «Европа—Запад» (1961), «Зной» (1960), «День для грядущего» (1964), «Шепот» (1966), «Добрый дьявол» (1970), «С точки зрения вечности» (1970), «Переходим к любви» (1971), «Разгон» (1976), «Львиное сердце» (1978), «Изгнание из рая» (1981), а также цикла исторических романов «Диво» (1968), «Первомот» (1972), «Смерть в Киеве» (1973), «Евфраксия» (1975), «Роксолана» (1979).

Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко.

КЛЮЧ ОТ СЕЙФА

Платону Воронько

Капитан был высокий, худой и весь какой-то несобранный: шинель топорщилась, пуговицы на ней застегнуты и не застегнуты, ремни перекошены, кобура с пистолетом съехала куда-то аж за спину. По всему видно: человек гражданский, не будь войны, не стал бы ни капитаном, ни начальником этих курсов и не должен был бы устраивать этот смотр «личного состава» на морозе, среди снегов, под дрожащими белыми березками, души которых, пожалуй, замерзли так же, как души этих людей, которые отныне должны называться слушателями военных курсов подрывников-диверсантов.

Какое-то время, придиричиво шурясь, изучал с правого фланга длинную, далекую от желанной стройности шеренгу, потом неохотно махнул рукой.

— Слушать меня внимательно! — небрежно и раздраженно бросил своим подчиненным. — Всем слышно? Так и запишем! Фамилия моя Ермошкин. Капитан, как вы уже успели рассмотреть. Человек я вредный, ехидный, немилосердный. Всем слышно? Запишем. Требовать буду беспощадно! За три месяца из вас надо сделать гениев подрывного дела. Может быть, не дадут нам и трех месяцев. Вопросы есть?

Вопросов не было.

— Теперь поглядим, каких нам прислали орлов, — насмешливо молвил капитан и шагнул к правофланговому, самому высокому из всех, с белым, как у женщины, лицом. — Фамилия?

— Дерябкин! — крикнул правофланговый.

— Под своего капитана подстраиваешься? Я Ермошкин, а ты Дерябкин? Так и запишем. Но я для всех вас капитан и начальник курсов, а ты — рядовой Дерябкин. Подрывное дело знаешь?

— Так точно! — выпалил Дерябкин.

— Вид геройский. Хвалю. Кем был у подрывников?

— Поваром!

Хохот грянул такой, что между берез заметались перепуганные вороны, которые до сих пор прятались где-то в ветвях и присматривались к тому, что происходит внизу.

— Отставить смех! — Капитан скривился, потому что смеялись не только над этим вчерашним подрывниковым поваром, но и над ним, капитаном, также. Смех не разбирает, не признает ни званий, ни должностей. Тут получилось и совсем некстати: только-только капитан объявил, что он человек ехидный, как его подчиненные сразу же отплатили ехидством ему самому.

Капитан отвернулся от Дерябкина и шагнул к Осенице, стоявшему в шеренге вторым. Осеница не мог похвастаться ростом, но на эти курсы кто-то подбирал людей вообще низкорослых, как будто считал, что первым признаком подрывника должна быть незаметность, потому и втолкнул Осеницу вторым с фланга, теперь он должен был принять на себя весь гнев капитана Ермошкина.

— Профессия? — сквозь зубы процедил капитан.

Осеница растерялся. Должен был ответить: «Подрывник. Два года рвал скалы на Вахше», — а потом, перефразируя Лесю Украинку, еще и стихами: «Я той, що греблі рвав, я не сидів у скелі». Но сказал совсем не то.

— Я поэт, — с беззащитным простодушием ответил Осеница.

— Что, что, что? — выпустил из себя все запасы ехидства капитан. — Всем слышно? Поэт? А что это такое?

— Это писатель, — попытался объяснить Осеница, но капитан не требовал объяснений, он требовал жертв.

— Ага. Поэт, то есть писатель. А я вот стою и думаю: где мне взять писаря для курсов? А тут — писатель. Фамилия?

— Осеница.

— Будешь писарем. Все ясно?

Осеница молчал.

— Слышали, что я сказал?

— Так точно!

— Повторите приказание!

— Есть быть писарем!

Он не мог постичь, как можно начинать службу с неприязни. Но полюбить капитана Ермошкина? За что? Однако служба есть служба, и еще не окончился этот день, а Осеница уже сидел в «штабе» курсов: просторная пустая комната с двумя окнами на промерзшие березки в глубоком снегу, казенный сосновый стол, хмурый сейф сургучного цвета в углу, коробка полевого телефона, который не звонил и не «говорил» ни туда, ни сюда. Может, загадочно молчал до времени?

Они прибывали в этот подмосковный городок П. на курсы подрывников группами и поодиночке в течение ночи, утра, дня, находили среди берез два кирпичных корпуса довоенного горного техникума, а там уже их ждали, уже действовал дражайший сердцу каждого солдата пищеблок с главным поваром, неподкупным узбеком Усмановым, уже был старшина с традиционной украинской фамилией на «ко», а возле него — четыре сержанта, как пчелы возле матки, верные, кусучие: «Выходи на строевые занятия! Смирно! Кругом!.. Бегом! По-пластунски!..» Откуда все это взялось? Неужели их собрал встрепанный капитан? Шершавый, как наждак, но какой же, оказывается, организатор!

Капитан возник перед Осеницей после завтрака. Одна нога тут, другая уже где-то там. На дворе, изнемогая от мороза, всхлипывала ломанная-переломанная полуторка.

Осеница не ждал столь раннего визита начальства, сидел за столом и пахал носом свежий номер «Правды» со статьей Эренбурга. Капитан все увидел, понял, ехидно бросил с порога:

— Очки надо носить!

Осеница вскочил, хотел рапортовать (о чем, о чем?!). Капитан оставил его взмахом руки:

— Отставить рапорт! Я сказал: очки надо.

— В очках не взяли бы,— простодушно пояснил Осеница.

— В подрывники?

— В армию.

Мог бы рассказать, как рвался в лыжный отряд, сформированный из студентов Литинститута, и как его из-за плохого зрения деликатно отстранили. Мог бы и о том, как потерял зрение на Памире. Туда ехал по комсомольской путевке с глазами, как у степного орла, хлопец с Роменщины, чуб — вороным крылом, на груди яркий цветок, а в душе — громы и надежды. Ничего не умел, научился рвать скалы, а потом неудачный взрыв — и вот с глазами. Тряхнуло тогда ему не одни только глаза, но и душу — всего тряхнуло. Может, с того и стихи начал... Хотя о Таджикистане так ничего и не сложилось, а все о родном крае, о Сумщине, Роменщине, золотых полях, загадочных курганах и еще более загадочных людях.

— Доброволец? — то ли спросил, то ли утвердил капитан.

— Доброволец.

— Все мы добровольцы. Значит, так. Будут спрашивать — я в Москве. Вернусь вечером. Все ясно?

— Так точно!

— Так и запишем.

Осеница не мог еще тогда знать, что капитан Ермошкин начинал с учетчика на каменном карьере, потому и привык повторять: «Так и запишем». Хотя было то давно, во времена чуть ли не доисторические. Впоследствии он бурил шпур для взрывов, потом стал директором каменоломни, учился в институте, возглавлял еще что-то довольно значительное и важное. А теперь не было для него ничего важнее, чем эта школа подрывников.

Чтобы курсанты не разленились, сержантам было приказано взяться за строевую подготовку, а к вечеру следующего дня капитан привез не то из Москвы, не то уж и не знать откуда майора, который должен был читать лекции о взрывчатых веществах. Майор Поляков, еще вчера доцент университета, хотя и носил уже военную форму, продолжал оставаться глубоко штатским человеком, о чем свидетельствовали его очки с толстыми стеклами, почти детское удивление и растерянность, когда перед ним «печатали шаг», приветствуя его, а особенно же портфель с конспектами лекций, который вчерашний доцент никак не хотел заменить полевой командирской сумкой. Курсанты сразу же незлобиво прозвали майора «фигурным зарядом», наверное, имея в виду комичность его фигуры и некоторое несоответствие их будущему суровому предназначению, однако вскоре убедились, что Поляков предмет свой знает в совершенстве и знания извлекает не так из портфеля, как из собственной головы.

Осеница, хотя и должен был сидеть безотлучно в штабе, тоже бегал на занятия, которые вел майор Поляков, и тоже торопливо записывал каждое его слово о всех тех тротилах, тетрилах, гексогенах, ксилолах — такое все далекое, чуждое и даже враждебное поэзии, которая хоть и оставила Осеницу в эти страшные месяцы, но отходила от него медленно и незаметно, как ранние летние ягоды, навеваясь изредка то словом, то строкой, то неожиданной краской, ощущением, настроем, но все это не записывалось, а только становилось на горизонте памяти несмелыми ожиданиями грядущего. Вот закончится война — и тогда!.. Разгромим проклятого фашиста — и уже тогда!.. Все будет, когда победим! Все тогда, все, все, все! А сейчас — «идет война народная, священная война...».

О том, что он поэт, никто не вспоминал. Забыли или не слышали? Писарь тут был выше поэта. Писарь под боком у капитана, их повелителя и бога, а поэты — кто они и где? Если бы кто и вспомнил о том неосторожном сообщении Осеницы перед строем и попросил его почитать стихи, то он не стал бы читать свои, а читал бы им Тычину, Рыльского, Малышка и своих друзей по Литинституту — Симонова, Луконина, Наровчатова.

Но он был только писарь, и этим очерчивался круг его существования. Уже в первые дни узнал, что, кроме пищеблока с невозмутимым Усмановым, на курсах уже есть склады боепитания, оборудованы учебные классы, полигоны для практических занятий за городом в карьерах цементных заводов и даже клуб, в котором жена капитана Ермошкина, маленькая, точно кубик, женщинка, уже организовывала художественную самодеятельность.

Осеница испугался, что все это так или иначе придется ему переписывать, но никто ничего не требовал, вся его служба сводилась лишь к дежурству в «штабе» — это требовало терпения, коим селянского сына не удивишь, только и всего.

Жена капитана оказалась еще лучшим организатором, чем ее муж. Уже на третий день она устроила концерт в их клубе, на концерт были приведены все курсанты. Капитан Ермошкин, майор Поляков, старшина, сержанты, повар Усманов, Осеница, старший сержант — начальник боепитания — сидели в первом ряду. В зале, ясное дело, никто не топил, но на первый ряд и на сцену дышали все курсы, и казалось, что там чуточку теплее.

Концерт открывала жена капитана Ермошкина. Вышла на сцену в черном бархатном платье, в лакированных туфельках, бледная, четырехугольная и вдохновенная, как прославленная Валерия Барсова, свела руки на груди, расставила ноги, чтобы крепче упираться в шершавые доски сцены, чуть заметно кивнула пианисту — курсанту из интеллигентной семьи, — закрыла глаза, вскинула лицо — и залилась: «Соловей мой, со-о-оловей!..»

— Сведи ноги вместе! — грубо ворвался в сладостные звуки Алябьева голос капитана Ермошкина, и Осеница готов был убить его за это грубиянство. «Варвар! — подумал он возмущенно и несчастно. — Какой варвар! И от этого человека зависит моя судьба и судьба нас всех...»

Еще словно бы вчера был Осеница на Тверском бульваре, слышал голоса прославленных, благородных, утонченных, а сегодня с высот поэзии должен был низвергнуться в пропасть жестокой повседневности, на дне которой ждал его капитан Ермошкин. И не было спасения.

Разве что распевать со своими хлопцами-курсантами песенку, сочиненную словно бы об их городке: «Помнишь городок провинциальный, тихий, захолустный и печальный?..»

Утешение малое.

Чем-то родным повеяло, когда узнал, что капитан привез преподавателя стрелкового дела младшего лейтенанта Сницаренка. Не земляк ли?.. Возле села Осеницы был хутор Сницаренков, там испокон веку жили загадочные люди, которые странствовали по всей Украине, укра-

шали резьбой крылечки и оконные наличники в богатых домах, мастерили редкостную мебель, иконостасы в церквах. Может, этот младший лейтенант из тех Сницаренков, земляк, родная душа?..

Двенадцать часов занятий и четыре часа самоподготовки ежедневно — не очень разгонишься, чтобы найти свободную минуту. Осеница все же улучил момент, когда младший лейтенант был свободен от занятий, с простодушной доверчивостью полез ему на глаза.

— Товарищ младший лейтенант, мы с вами не земляки? Я из-под Ромен... Осеница...

Сницаренко был как ржавый дым в стихах известного поэта. Хилая фигура, тонкая шея, шапка до ушей, шинель хомутом. Наверное, прополз на животе от рядового до младшего лейтенанта, без образования, без знаний, без царя в голове, но верный богу службистского усердия, рвения, который вывезет, вынесет каждого, кто будет предан. Услышав неуместный лепет про «земляка» и какие-то Ромны, младший лейтенант встrepенулся, наежился, напетушился, вытянул тонкую шейку, впился в Осеницу острым, как штык русской трехлинейки, взглядом.

— Как вы стоите перед командиром? Что за безобразие! Смирно! Почему я не видел вас на занятиях по стрелковому делу?

— Я... Я — писарь, — сник Осеница.

— Писарь? А кто освобождал вас от занятий по стрелковому делу?

Осеница молчал. В самом деле — кто? Сам себя избавил и освободил.

— Или, может, вы забыли, что идет война с фашистом? — допытывался младший лейтенант. — И что каждый, кому народ доверил оружие, обязан... Вы обязаны уметь разобрать и собрать любой из видов существующего стрелкового оружия, днем и ночью, с завязанными глазами и во сне, с руками и без рук, на земле и под землей, на воде и под водой, в атмосфере и в стратосфере! Вам ясно?..

— Так точно!

— Повторите! И чтобы завтра были у меня на занятиях!

Вот тебе и землячок.

А чтобы Осеница не слишком скучал, перед обедом прибыл из Москвы на новенькой трехтонке одетый с иголки молодой майор, проскрипел хромовыми сапожками по пустой комнате их «штаба», выметнул из роскошной (желтая кожа, сверкающие, как солнце, замки) полевой сумки большой синий конверт, весело спросил:

— Кто тут принимает пакеты?

— Наверное, я, — сказал Осеница, вставая.

Майор без особого восторга скользнул взглядом по его ватному кавалерийскому бушлату, по «кирзякам», которые не поддаются чистке, по

далекой от изысканности шапке (а она к тому же была еще и слишком тесной для большеголового писаря), с видимым сожалением повертел в руках конверт, но все же вынужден был с ним расстаться, шмякнул перед Осеницей пакетом о стол, велел-попросил полуулыбчиво-полунасмешливо:

— Распишитесь и вручите начальнику курсов!

Осеница расписался, отковырял кукольному майору, отпер сейф (ключ торчал в замке, потому что в сейфе еще нечего было запирать), положил туда пакет (большой синий конверт, четыре сургучные печати по краям, пятая — посередине, а в самом конверте словно бы ничего и нет, такой он тонкий), закрыл тяжелую дверцу, щелкнул замком и бросил ключ в глубокий, как торба, карман своего кавалерийского бушлата.

Горнист подал сигнал на обед, и Осеница вздохнул, сожалея, что потратил с майором время и не успел к Усманову «на пробу», проще говоря, пообедать перед обедом, потому что все те, кому удастся отвертеться от общего строя, обедают если не трижды (до, во время и после), то непременно дважды: до обеда и во время обеда, вместе со всеми. А если учесть то, что для солдата самое дорогое — это сон и обед, то можно понять Осеницу и его вздох.

Он решил пойти сегодня на обед после всех. Правда, рисковал, что ничего на кухне не останется, но мог и выиграть, если предусмотрительный повар побережет для начальства каши пожирнее. А где начальство, там и писарь. И властью будто бы не облечен, и значение не всяма, а может, когда-нибудь и пригодится. С Усмановым, однако, тут другое. Только с Осеницей мог поговорить повар о самом дорогом сердцу.

— В Маргелане был? — спрашивал он Осеницу.

— Ну!

— А в Янгиюле?

— И в Янгиюле!

— А в Намангане?

Был или не был, а мог отвечать утвердительно. Потому что везде журчит вода в арыках, от старых карагачей ложится густая тень на землю, и в чайханах синие и зелено разрисованные пиалы с тысячеградусным кок-чаем в них, и целые столбцы свежих лепешек на дастарханах.

Осеницу Усманов ждал больше, чем самого начальника курсов, и сегодня встретил встревоженным:

— Почему опаздываешь, товарищ писарь?

— Служба, — развел руками Осеница.

Он повесил свой бушлат на привычное место у двери, поеживаясь с мороза, разминал плечи в блаженном тепле, прошел к столу, где всегда сидел, спросил Усманова:

— Чем кормишь сегодня, земляк?

— Борщ со свиной и бухарский плов.

— Бухарский? Что-то я не помню, едал ли такой.

— У таджиков нет. Таджики не знают. Бухарский — это у нас. Рис, баранье сало и кишмиш. Райская еда!

— Ну, отведаем твоей райской еды, Усманов.

— Добавки попросишь!

— Коли дашь, то и попрошу.

— Ты отведай, отведай!..

Так, обедая, можно было полететь воспоминаниями и на Украину, и на Вахш, и на Ферганский канал... Можно бы все, да вишь, война.

Осеница сидел, ел, близорукими глазами пас бушлат, Усманов даже удивился:

— Ты так сторожишь свой бушлат, точно в нем твоя невеста!

— Военная тайна, — важно усмехнулся Осеница.

Он пообедал, поблагодарил Усманова, надел бушлат, свернул толстенную сигарку с махрой, закурил и пошел в «штаб» ждать своего капитана.

Капитан прибыл уже в полночь, замерзший, еще более встрепанный, чем обычно, ошестинился на Осеницу, когда тот подскочил к нему, чтобы доложить, рвал на себе ремни, рвал пуговицы шинели, бегал по комнате, бросал то в один угол, то в другой:

— Печенье и варенье дают! Барышню нашли! Пиши — не пиши...

А где инструктор по взрывному делу? Кто мне научит людей?! Сидят, морды наедают! Что? Я спрашиваю — где? А вы мне что?

Осеница стоял молча, капитан налетел на него, удивился и вспыл:

— А вы чего? Что вам нужно? Чего стоите?

— Товарищ капитан, вам пакет!

— Пакет? Что за пакет?

— Из Москвы.

— Что же вы стоите? Давайте пакет!

Осеница шугнул в карман бушлата, засунул правую руку чуть не по локоть, но, видимо, не туда попал. Мигом шугнул левой рукой, в другой карман, но пальцы и там не нащупали ничего железного. Он лихорадочно шарил в обоих карманах, склоняясь то на один, то на другой бок, ничего не находил, а капитан смотрел на Осеницу все пристальнее и пристальнее, подошел к нему ближе, впритык, разглядывал своего писаря уже с любопытством, с открытой издевкой в глазах, потом крикнул:

— Что вы мне тут насосы раскачиваете? Где пакет?

— Ключ... — пробормотал Осеница. — Ключ никак не...

— Какой ключ?

— От сейфа. Он был тут... В этом кармане... Я запер сейф и... А теперь...

Капитан молча пересчитал до десяти (в обратном порядке, как все подрывники), спесиво вскинул голову и процедил:

— Ваш ключ меня не интересует. Вам ясно?

— Так точно!

— Можете записать. И еще — можете зарубить себе на носу. Даю вам двадцать четыре часа. Это много, но я добрый. Если через двадцать четыре часа пакет не будет лежать вот здесь на столе, я отдам вас под трибунал. Ясно?

— Так точно.

— К вашему сведению, тут уже были курсы подрывников.

— Когда? — удивился Осеница.

— Перед нами. Койки еще теплые от тех, кто на них спал. И не такие, как вы. Ясно? Где они? Пошли сражаться за Москву. И никто не вернулся. Ясно? Можете записать. Никто не вернулся. А теперь тут мы. И я не потерял раззяв, нерях и головоотяпов!

Он грохнул дверь и исчез. Осеница еще поискал в своих карманах, позаглядывал в углы, под стол, стул, под сейф, за маскировочные шторы на окнах, ничего не нашел, вздохнул, погасил свет, вышел из помещения, удивил часового, не отозвавшись на его приветствие, пошагал по снегу, натолкнулся на березу, стал возле нее, оперся плечом о холодный ствол.

Стал вспоминать, где был и что делал после того, как положил пакет в сейф, запер сейф и опустил ключ в карман. Не был нигде, кроме столовой и штаба. Ни с кем не встречался, не разговаривал, кроме Усманова. Бушлат снимал только в столовой, но все время держал его перед глазами. Не спал. Не ловил ворон. Не поддавался на вражеские происки. Не, не, не...

А ключа все-таки нет.

Осеница пошел к Усманову.

— Слушай, Усманов, я у тебя обедал?

— Обедал? У меня? А у кого бы ты еще пообедал?

— Ты отвечай, когда я спрашиваю. Обедал?

— Обедал.

— У тебя?

— У меня.

— Бушлат этот на мне был?

— Бушлат.

— Я его снимал?

— Его.
— Он висел вон там?
— Висел.
— Никто его не брал?
— Не брал.
— Та-ак, — грустно протянул Осеница. — Теперь все понятно.
— Что тебе понятно, товарищ Осеница?
— А я и сам не знаю. Ты же видел мой бушлат?
— Видел.
— Но не видел, что в кармане был ключ. Большой ключ от сейфа.
— Не видел.
— Ну вот. Ключ пропал. И никто не может мне сказать, куда он мог деваться. Ты уже всех здесь знаешь, Усманов. Так вот скажи: фокусников тут нет?

— Из цирка? Нет.
— Нечистой силы тоже нет?
— Какая нечистая сила? Война, товарищ Осеница! Но шайтан мог быть. Знаешь шайтан?

— Нечистую силу нашу ты не признаешь, а своего шайтана мне подсовываешь? Ты бы еще про магнетизм, флюиды или еще что... Ладно. Улететь ключ не мог, потому что без крыльев. На голове я не стоял — не мог он из кармана выпасть. Что же могло с ним произойти? Ключ можно потерять, продать, подарить, отдать так или променять, спрятать, забросить. Ничего этого я не делал. У меня могли ключ выпросить, выдурить, выкрасть, отнять. Не было и этого! Тогда что же?

— Вон идет ужинать майор Поляков, спроси у него, — посоветовал Усманов.

Майор вошел, деликатно прикрыл за собою дверь, поставил на пол толстый портфель, принялся протирать запотевшие с мороза очки.

— Товарищ майор, разрешите обратиться. — Осеница вытянулся перед ним.

— Минуточку. Кто это тут? А, это вы, товарищ писарь? Что вы хотели? Я к вашим услугам.

Осеница начал про ключ, майор ничего не мог понять.

— Ключ? От сейфа? Но... простите... я тут... как бы сказать...

— Я к вам, как к представителю точных наук. Вот был ключ и исчез. Таинственно и неразгаданно. Был — и нет. Словно испарился, как роса на солнце. Не утонул, не зарыт в землю или в снег, исчез — и все.

— Сублимация, — надевая очки, спокойно пояснил вчерашний доцент.

— Субли... Как вы сказали, товарищ майор?

— Сублимация. Переход твердого тела сразу в газовое состояние, минуя жидкостное.

— И сталь может — вот так?

— И сталь. От взрыва. Целые острова становятся облаками газов от внезапных вулканических взрывов. Вам следует знать, что от взрыва тротиловой шашки развивается мощность большая, чем от Днепротэса. Правда, в микромиллионные доли секунды, но развивается.

— Товарищ майор, никакого взрыва не было!

— Я и не требую от вас взрыва. Вы спросили — я пояснил.

Осеница поблагодарил и тихонько выскользнул из столовой.

Ночь он не спал, но это не помогло. Ключ не находился, хоть спи, хоть не спи.

Утром он всячески изловчался, чтобы не попасть на глаза капитану, дождался, пока тот прогремел своей полуторкой в далекие штабы, и мигом подался к своему знакомому сержанту — начальнику склада боеприпасов.

— Выручай! — попросил сержанта Осеница.

Сержант, в валенках, в новеньком кожушке, хитро поглядел на паря, прищурил глаз, подумал, прикинул, пригодится ли когда-нибудь тот, потом благодушно сказал:

— Взаимовыручка в бою — главное дело! Что нужно?

Осеница стал загибать пальцы: две толовые шашки, десяток взрывателей, метра два дистанционного шнура, моток бикфордова.

— Пиши расписку!

Осеница мог написать не только сержанту, но и самому дьяволу!

По дороге завернул к Усманову, выпросил нож. Принес свои сокровища в штаб, разложил на столе, стал воровать над взрывчаткой. Опыт имел немалый. Мог рассчитать величину заряда и по формуле Борескова¹ (вот бы подивился капитан Ермошкин!), и просто на глаз, руководствуясь интуицией.

Подшел к сейфу, осмотрел его дверцу, стенки, вернулся к столу, стал колдовать над толовыми шашками. Затем присоединил бикфордов шнур, вывел его за дверь.

После этого открыл окна, чтобы ослабить действие взрывной волны, дверь тоже распахнул настежь, часовому возле штаба спокойно сказал:

— Ты мог бы сбегать в пищеблок? Отнеси Усманову этот нож.

¹ Боресков — русский военный инженер XIX века, формулой которого для расчета величины зарядов в подрывных работах пользуются и донныне. (Прим. автора.)

— А пост?

— Считай, я постою за тебя.

Часовой знал: пост оставлять нельзя. Но знал он и то, что если принесет нож Усманову, то повар отблагодарит если не кашей, то хоть супом. А что солдату надо?

— Не обманешь? — настороженно озираясь, спросил часовой.

— Слово!

— Ну, держи винтовку, а я побежал.

Осеница не стал ждать, пока затихнет топот его сапог, нагнулся над концом бикфордова шнура и зажег спичку.

Осеница предусмотрительно встал за толстую березу, медленно считал:

— Десять, девять, восемь, семь...

Рвануло так, как он и предполагал, не слишком гулко, но с достаточной силой. По крайней мере вороны и сороки в березах озадаченно всполошились, а часовой, так и не успев полакомиться усмановским супом, прилетел в штаб, запыхавшийся и перепуганный.

— Что еще? — издали закричал он. — Ты что тут? Кто это? Диверсанты? Бомбежка?

— Держи винтарь, сейчас пойдем посмотреть, что оно там и как, — спокойно встретил его Осеница и повел за собой в полную дыма комнату.

Сейф сургушно темнел в грязном дыму, толстая дверца, как отрезанная бритвой, лежала на полу. Осеница отважно шагнул ближе, засунул руку в нутро стального тайника и достал оттуда целехонький пакет с пятью нетронутыми красными печатями.

— Видел? — спросил у часового.

Тот молча попятился, как от нечистой силы, но этот маневр его был вызван не испугом или чрезмерным восторгом от волшебства Осеницы, а тем, что со двора послышались сердитые шаги, которые могли принадлежать здесь только одному человеку: капитану Ермошкину.

Капитан вошел, взглянул на погром, все понял без объяснения. Осеницу, который бросился к нему с пакетом, молча отвел рукой, подошел к сейфу, долго склонял голову то на один, то на другой бок. Потом резко бросил:

— Кто?

— Товарищ капитан, разрешите вручить пакет! — выпалил Осеница.

— Я спрашиваю: кто готовил взрыв?

— Я, товарищ капитан!

— Рассчитывал кто?

— Я, товарищ капитан!

— Вы?!

— Я, товарищ капитан!

— Давайте пакет!

Осеница вручил пакет, и в душе у него зазвенело нечто такое радостное, как поэзия. Забыв обо всем на свете, он нахально попросил:

— Разрешите закурить, товарищ капитан?

— Курите, — пробормотал тот, разрывая плотную обертку пакета и подходя к окну, где было светлее.

Осеница опустил руку в карман, но махорки не нашел. Не было ее и в другом кармане. А он ведь помнил, что с утра еще была. Курил перед тем, как пойти за взрывчаткой. И курил свою махорку, не просил ни у кого. Ну, потом некогда было, забыл обо всем на свете, но ведь перед тем...

Осеница вывернул один карман, другой. В углу правого шов разошелся, образовалась дыра. Дыра и дыра. Найдем махорку там, куда она просыпалась. Осеница разорвал шов так, чтобы в дыру пролезла рука, стал шарить в поле бушлата. Добрался до махорки, и тут пальцы его наткнулись на что-то холодное и твердое.

Осеница глянул на капитана. Тот уже прочитал бумагу из пакета, сложил ее небрежно. Надо было подождать, пока капитан уйдет, а уже потом... Но какая-то темная сила толкала Осеницу к действиям неосторожным и опасным, его пальцы схватили то холодное и твердое, рука как бы сама выдернулась из кармана, на ладони блеснул стальной ключ от сейфа...

— Товарищ капитан, — растерянно прошептал Осеница, — ключ! В кармане дырка, провалился в полу, а я...

От Ермошкина можно было ждать чего угодно: разжалования из писарей, гауптвахты, трибунала. От такого ни спасения, ни пощады.

Он и впрямь двинулся на Осеницу, весь перекошенный от презрения, гнева и немилосердности!

— Вы! — выдавил сквозь зубы. — Морочили мне голову! Тычина, Маяковский, Вера Инбер! Назначаю вас старшим инструктором подрывного дела! Ясно? Повторите приказ!

— Есть быть старшим инструктором подрывного дела! — щелкнул каблуками Осеница.

Не мог только сообразить, к чему тут Вера Инбер. Может, она любящая поэтесса капитана Ермошкина?..

В энциклопедии «Великая Отечественная война», в статье «Рельсовая война», говорится, что с 3 августа по 15 сентября 1943 года советские партизаны на оккупированной территории РСФСР, БССР и УССР для оказания помощи Советской Армии в завершении разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве 1943-го и развитии общего наступления провели большую операцию... За первую ночь операции было взорвано 42 тысячи рельсов. В действиях, развернувшихся на огромном пространстве — тысяча километров вдоль и 750 километров в глубину фронта, — принимало участие около ста тысяч партизан. На протяжении всей операции подорвано около 215 тысяч рельсов, пущено под откос много эшелонов (только белорусскими партизанами — 836 эшелонов и 3 бронепоезда), взорваны мосты, станционные сооружения. На некоторых железных дорогах движение было задержано на 3—15 суток, а магистрали Могилев — Кричев, Полоцк — Двинск, Могилев — Жлобин не действовали весь август.

Где ты, Осеница? — хотелось крикнуть через фронты, бои и расстояния. Да разве только тогда?

МЕЛАНΙΑ АНДРОФОНОС

Это все напоминает переливы жемчужного сияния над летними полями. История, давнишняя и странная, еще и поныне не сходит с горизонтов его памяти, и он никак не может постичь, что послужило ей причиной: то ли его тогдашняя усталость, вызванная длительным пребыванием на чужбине, или чрезмерная впечатлительность его натуры, а может, загадочное влияние фамилии, которая, вообще говоря, была довольно простой и понятной даже малому ребенку, — Черный.

В самом деле: кто не знает черного цвета и над чем тут голову ломать? Но наступает в жизни человека пора, когда он задумывается и над вещами, казалось бы, простейшими, и вот ты уже спрашиваешь себя, почему ты Иван или Петро и что бы это должно означать, и ищешь в прошлом своих славных предшественников не то для того, чтобы каким-то образом примкнуть к ним, не то для удивления, а то и жалости.

То же и с фамилиями. Пока Черный был обыкновенным черниговским мальчишкой, у него и в мыслях не было задумываться над своей фамилией, ее происхождением, значением и, может быть, загадочностью. Но вот он стал сценаристом, забили ключом вокруг него люди, мысли, страсти, капризы, чудачества, и кто-то спросил его шутя, а другой насмешливо, а потом уже он сам себя — хоть и не встревоженно, но с надлежащим любопытством: действительно, почему он Черный, а не Белый или еще какой-то там, и что бы это могло означать, особенно если вспомнить, что он из Чернигова, где когда-то будто бы был князь Черный и есть Черный курган, в котором археологи нашли знаменитый

рог, окованный серебром, с какими-то там изображениями, что приводит ученых в восторг чуть ли не детский?

Выходило, что Черный — не такая уж и простенькая фамилия, поскольку, может, тяготееет она к таинственным пракорням, из которых зарождалась цивилизация наших степей, к скифам, а то и еще глубже. Ибо, как пишет Геродот в четвертой книге своей истории, у черноморских скифов среди других соседей на севере и востоке были меланхлены, то есть те, кто ходит в черных плащах. Если учесть утверждение Геродота, что до меланхленов от моря насчитывалось двадцать дней пути, то их следовало бы искать где-то в изгубе Донаца. Их черные плащи должны были напоминать бурки современных кавказских горцев. А греческое название «мелан» — «черные» — впоследствии отразилось в наименовании городов Чернигов и Воронеж. Ясное дело, это только догадки ученых, и вряд ли стоит придавать символическое значение простой фамилии Черный. Символы, как и порода, не вечны. Если разрушаются даже самые высокие горы и целые материки поглощаются океаном, то что же говорить о вещах, далеких от материальности! Хотя есть категория такая же вечная, как и материя, она словно бы животворит материю, придает ей измерения глубинно-исторические, то есть духовные, и зовется она памятью. Память языка, слов, даже отдельных человеческих звуков. А в самой памяти вечны гармония, красота, величие и... ужас. И они не могут существовать одно без другого, как свет и тьма, ночь и день, жизнь и смерть.

Наверное, фамилия Черного сделала его слишком чувствительным ко всему, что так или иначе связано с памятью. Еще совсем маленьким он вздрагивал от одного лишь звука необычных имен, географических названий, странных терминов. Олимп представлялся ему клубом деснянских речников, но в то же время был в такой невероятной дали, от которой сжималось сердце. Парнасом могла быть только заросшая вербой и калиной левада бабки Параски над Стрыжемем, хотя опять-таки между той левадой и Парнасом пролетали неизмеримые расстояния. А еще же был калидонский вепрь, родичи коего бродили в придеснянских дубравах; и лернейская гидра — родственница их шипящих гадюк; и пролив Баб-эль-мандеб, как обмелевшая в летний зной Десна; и пустыня Гоби, или Шамо, как песчаные кучегуры в тальнике; и вершина Чимборасо, которой, конечно же, далеко до черниговских гор с дивными древними соборами.

Детство человечества как бы соединялось с твоим собственным детством, в этом были таинственность, поэзия и обещания вечности. Все мы носим свое детство, спрятанное глубоко в душе. Неистовство мечтаний, увлеченность неведомым, желание тайн, вера в откровение — все

это со временем гибнет при столкновении с холодной трезвостью ума. Поэтому, когда писатели, поддаваясь скоропреходящей моде, начинают напихивать свои книги именами греческих и римских богов, древнегреческими мифами, славянскими легендами, небылицами и чепухой, становится смешно и неловко за них, потому что от этого боги и герои, сохраняющиеся в твоей памяти, все равно не оживают, а книги с ними умирают, не родившись, и становятся похожими на свалки, полные омертвевших обломков и пыли веков.

Но как ни успокаивал себя Черный такими рассуждениями, до сих пор не мог постичь, что же произошло с ним в Белграде почти три десятка лет тому назад.

С Сашком С., товарищем Черного по студии, и Владо Голубовичем они заканчивали сценарий фильма об освобождении Белграда от фашистов. Собственно, о самом освобождении следовало бы сделать фильм документальный, соответственно смонтировав те километры кинохроники, которую отсняли в свое время советские и югославские операторы. Внимательно просмотрев пленку, они отобрали все, что надо было включить в их будущий фильм: и советские танки на улицах югославской столицы, и колонны Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) во главе с генералом Пеко Дапчевичем, и светлые слезы на лицах женщин, и мерцающие свечечки, зажженные белградцами в первую ночь над каждым из павших освободителей. Но фильм их должен был сказать не об известном и видимом, а о страшном, сокрытом, перед чем заламывает руки сама история.

Белград строился в древние времена, так же как Рим или наша Одесса. Под землей добывали мягкий белый камень, из того камня выкладывали дома, сооружали укрытия. Город разрастался все больше и больше, штольни под ним разветвлялись на сотни и тысячи рукавов, образуя еще один город, катакомбный, какой в Риме дал когда-то приют первым христианам, а в Одессе служил укрытием для несокрушимых борцов с фашистами, а в Белграде был последним пристанищем для умерших, затем складами боеприпасов для крепости. В новые времена по бесконечным подземным коридорам и залам пролегла городская канализация, благодаря чему это хозяйство сохранялось почти в таком же идеальном порядке, как в стамбульских султанских дворцах, где очистные воды текли по каналам, построенным сирийскими мастерами еще во времена Византии.

Но речь пойдет не о состоянии городского коммунального хозяйства югославской столицы.

Когда в октябре сорок четвертого советские войска Третьего Украинского фронта вместе с частями НОАЮ могучим ударом выбили гит-

леровцев из города и те в течение одной ночи панически бежали за Дунай, эсэсовские головорезы, оставшиеся в Белграде, поклялись своему обезумевшему фюреру, что сдадут Дунайскую крепость разве что тогда, когда Дунай потечет назад от Черного моря. Такие вот кровавые ирригаторы первой половины двадцатого столетия! Они уже клялись этак по-вернуть вспять течения Волги и Дона, Днепра и Вислы, теперь добрались и до Дуная, а реки спокойно текли, навеки смывая фашистскую нечисть, не оставляя от нее и следа.

А она хотела оставить след вражды, ненависти и крови. В Белграде эсэсовцы спустились в подземелье. Тайно, незаметно, хищно. Имея подробный план каменных лабиринтов, они, как чумные крысы, позаползали в мрачные норы и в первую же ночь, когда освобожденные белградцы праздновали свое возвращение к жизни, в самых неожиданных местах — на улицах, площадях, скверах, дворах — внезапно появлялись темные, смердящие привидения, выскакивали из канализационных люков и убивали всех, кто оказывался поблизости: детей, женщин, стариков, раненых солдат. Сеяли смерть и снова бесследно исчезали, и никто не мог ничего понять, тем более предотвратить трагедию. В городе, который еще, собственно, не перестал быть фронтовым, немедленно объявили чрезвычайное положение, командование подняло все войска, по радио каждый час передавали предостережения населению. И вот тогда к командованию пришел старый человек в темной поношенной одежде и сказал, что у него очень важное сообщение для самого высшего генерала. Его проводили к начальнику гарнизона. Человек сказал:

— Меня зовут Гойко Митич. Вся моя жизнь — внизу под Белградом. Это моя работа. На такую работу желающих мало. Никто никогда на нее не зарился. Никого я там не видал. А теперь пришли чужаки. Хотели меня убить, но я те места знаю, а они не знают, потому что пришли. Вот и все.

Генерал пожал Митичу руку и спросил, не мог бы он помочь его воинам вышвырнуть из подземелий этих пришельцев.

— А кто бы еще смог? — со спокойным достоинством взглянул на генерала старый Гойко.

Так он стал проводником истребительного отряда наших и югославских бойцов. Его оберегали даже тогда, когда гибли почти все. Именно благодаря этому Гойко и уцелел тогда, несмотря на свою неопытность в военных действиях и наивную доверчивость к человеческой породе.

И вот теперь, через двадцать лет после тех событий, после неизвестных миру, в свое время обойденных молчанием, а потом почти забытых кровавых дней «подземного освобождения Белграда», Черный с

товарищами намеревался сделать об этом фильм. Они искали уцелевших участников тех событий. Снова, как когда-то к советскому командованию, но теперь уже на студию «Авала-фильм» пришел старый человек в черной изношенной одежде и сказал:

— Меня зовут Гойко Митич, и я немножко знаю о том, что вам требуется.

И он стал их Вергилием в десятом кругу ада, неведомом даже великому Данте.

Их было трое. Черный — самый старший, на нем война вытанцевала свои каннибальские танцы и, наверное, дико ярилась, видя его жизнь. Сашко — сын «вызывальщика» машинистов из степной станции — принадлежал к детям войны, пожалуй, более несчастным, чем взрослые, потому что нет для человека несчастья большего, ужаснейшего, чем бессилие. Владо Голубович тоже был из поколения детей войны, но над ним еще тяготели целые века угнетения его родной земли то одними, то другими захватчиками, и поэтому в его характере странно соединялась тихая покорность с неуправляемыми взрывами гнева. Он вообще отличался такой невероятной впечатлительностью, что мог потерять сознание не от того, что услышал рассказ Митича о каком-то слишком жестоком эпизоде битвы в подземельях Белграда, а уже только представив себе все это, когда молчаливый Митич неторопливо вел нас темными штольнями и без объяснений говорил: «Овде», то есть «здесь».

Подробнее он не мог. Отвык разговаривать с людьми и объяснять то, что и так понятно. Вся жизнь под землей. Тут не разговоришься. По ходам, вдоль понурого течения нечистот, с длинным железным крюком, которым можно выловить из этих рек смерти любое из того, чем гордились и возвеличивались, чем возносили друг друга или чему завидовали люди там, на поверхности, в шуме, суете, мелочности бытия, Гойко подхватывал этим крюком и показывал им то детскую целлулоидную куклу, то золотое обручальное кольцо, то размокшие опереточные цилиндры и крылатки, то изъеденные ржавчиной мечи и алебарды, то сизо-черные фашистские автоматы, помятые магазины к ним, а то и целые железные ящики, полные патронов и гранат. И никаких рассказов, никаких проявлений чувств при этом, а только короткое невеселое «овде». Они шли дальше и дальше, а потом, обессиленные, тяжело поднимались на поверхность. Владо приглашал их к себе, на улицу князя Михайла, там их встречала чрезвычайно интеллигентная Владова мама, устраивала в глубоких старинных креслах и бросалась готовить кофе. Они молча глушили себя жестоким белградским кофе, их оглушал и шорох тысяч подошв по тротуарам улицы князя Михайла (квартира Голубовичей размещалась во втором этаже над очень популярной кондитерской — сладкар-

ницей), они никак не могли прийти в себя после блужданий по подземельям тысячелетнего города, знали, что коснулись одной из кровавейших, но и доблестнейших ран Белграда, но еще не умели показать ее людям и всему миру.

Знайте и помните!

Может, те дни, недели, месяцы неуверенности, беспомощности и в то же время каких-то скрытых откровений помогли им впоследствии не только передать людям могучее зрелище неведомых подвигов, но и самим словно вырасти сердцем, чуткостью и ответственностью перед миром.

Толстой говорил, что в суждениях о художнике следует прежде всего постичь, вокруг чего вращается его душа. Что касается Черного, то он мог бы засвидетельствовать, что в то лето их души вращались вокруг человеческого бессмертия, и это помогло его младшим друзьям занять надлежачее положение в суровой иерархии способностей. Сашка С. теперь все знают — известный кинодраматург, фильмы, поставленные по его сценариям, обошли почти все континенты. Владо Голубович, потрясенный когда-то жестокой правдой жизни, на какое-то время оставил художественный кинематограф, создал несколько короткометражных документальных трагедий, которые принесли ему почетнейшие международные отличия, потом снова вернулся к художественному фильму, и его лента получила главный приз на Московском кинофестивале.

Но, в сущности, разве имеет значение, кто из них кем стал, что сделал впоследствии, чем прославился? Тогда для них важным было лишь то, что самые нежные их цветы были растоптаны безжалостными сапогами палачей, и если те цветы снова расцвели, то теперь уже не на обычных городских клумбах, а на могилах героев.

То был страшный фильм. От работы над ним у Черного напрочь изматывалась душа, и он часто оставлял Сашка и Владо в надежде хоть немного успокоиться наедине с самим собой на живописных улицах Белграда.

Он не сумел бы описать эти улицы: от одних остались в памяти лишь названия, от других — ощущение таинственности, иные очаровывали его напоминанием о древних веках, пролетевших над этим городом, когда назывался он еще по-кельтски Сингидунум, а потом катились на него волны восточных нападков, и на руинах римских базилик и христианских святынь утверждался султанский зеленый сапог. Есть города, где улицы лежат плоско, как неживые, в других они упорно вскарабкиваются на холмы и возвышенности, еще в других — опасно спадают в низины. Здесь же господствующим впечатлением от улиц был бесконечный

простор, они звали дальше и дальше, в странствия, в очарованность, в обещание. Обещание чего?..

Черный шел по вызолоченным солнцем улицам, медлительный ветер обнимал его теплой ласковостью, а душа содрогалась снова и снова, и он понимал, что не будет ему здесь успокоения, потому что улицы не только беспредельно прекрасны, но и безмерно трагичны. Пусть памятью своей — что из того? Оглушенный от того ужасного «овде», как от безумолчного грома, Черный бессознательно воссоздавал на поверхности города смертный путь осени сорок четвертого, который устилали жизнями своими советские и югославские юноши в его подземельях.

«Овде» — и глухие удары, брань, проклятия, зубовный скрежет, кровь, огонь. «Овде» — и захлебываются клекотом автоматы, тускло поблескивает хищная сталь кинжалов, лопаются гранаты, железо и смерть, смерть и железо. Смертное изнеможение.

«Овде» — это погони и бегства, мрачные лабиринты гибели, безвыходность тупиков, огненная бензиновая река течет по бесконечным подземным руслам, сжигая все живое, воздух и само пространство это, и обезумевшие эсэсовцы, что дико хохочут, бьются о решетки, запирающие выход из подземелий в кручах над Дунаем.

Гойко Митич не вдавался в подробности. Отвык от повествований в своем одиночестве, считал, что его «овде» совершенно достаточно, чтобы разбудить их воображение, иногда добавлял несколько слов, объясняя, что там, наверху, над короткими, как выстрел, «овде»: то Градская Кафана, то музей Вука и Досифея, то один из древнейших районов Белграда — Скадарлия, то «Ателье 212»¹. Гойко словно бы видел сквозь землю, он легко мог определить, что у них над головой. Черный же, упорно прохаживаясь наверху, под небом и солнцем, пытался только отгадать те трагические места, где звучало Митичево «овде». Может, то была гостиница «Москва» на Балканской улице, круто спадавшей к Саве (они жили там с Сашком в роскошных апартаментах, уставленных раззолоченной мебелью в стиле Людовика XVI); может, самая высокая точка крепости Калемегдана, где на порфировой колонне взвился над городом бронзовый Победник скульптора Мештровича — символ несокрушимости Белграда в веках; может, это дом на улице Майки Еврозинии, где живет друг Черного — Микица, автор талантливого романа о югослав-

¹ Градская Кафана — городское кафе в центре Белграда; Вук Караджич — известный собиратель сербского народного творчества, реформатор правописания, автор первого словаря сербского языка; Досифей Обрадович — первый сербский писатель, который стал писать на народном языке, в 1808 году основал первую высшую школу в Белграде; «Ателье 212» — театр современной драматургии. Назван так по количеству мест в зале.

ском Чапаеве; а может, и эта улица Бронислава Нушича, идущая вниз от Градской Кафаны так же стремительно, как падала вниз там, на глубинах, подземная речка, по которой тогда ээсовцы пустили зажженный бензин, чтобы отгородиться от мстителей.

И какие же были эти люди, что не сгорели и в огне! Какая сила была в их телах, в руках, в мышцах, в словах, мыслях и чувствах! Все они вершили до конца: думали, любили, сражались, умирали, воскресали и уходили в вечность. И это из их крови, из их предсмертных стонов, нечеловеческих испытаний, страданий и изнеможения — и те цветы, и вызолоченная солнцем трава, и густолистые деревья, и смеющиеся толпы народа на улицах, красивые женщины, щебечущие дети и поющие птицы.

В задумчивости своей забрел Черный в небольшую лавчонку на улице Нушича, лавчонка привлекла его тенью, уютом и безлюдьем. Оказалось — продажа антиквариата (лавка по-сербски так и называется: продайница). Картины в старых багетах, блеклые гобелены со сценами охоты, поцербленный фарфор, затуманившийся хрусталь, средневековые пистолеты, шпаги, кинжалы, веера, кружева — воспоминания о прошлом в блеске, спеси, красоте, тщеславии.

Лавочка размещалась в цоколе большого дома, врытого в склон улицы, именно это и давало тут летнюю прохладу, но создавало и некоторое неудобство: в помещении не хватало света. Наверное, вечером или зимой, когда зажигали электричество, можно было вволю рассматривать все, что собиралось в продолжение долгих лет, а так приходилось удовлетворяться лишь выставленным в широком окне-витрине, которое выходило на тротуар улицы Нушича, собственно, «лежало» на нем своим нижним краем.

Естественно было считать, что в окне-витрине выставлены вещи самые ценные, самые неповторимые, редкостные, благодаря которым лавка и называлась антикварной. И там действительно было на что поглядеть. Маленький трехколесный бронзовый возок времен еще доисторических, потемневшая медная гравюра с изображением штурма Белграда янычарами Сулеймана Великолепного в 1521 году, портрет черноволосой женщины, похожей на Катерину Прогич с известной картины Ивана Поповича, две темноликие иконы балканского письма, большая серебряная чаша и два тяжелых браслета с персидским орнаментом; а посредине, занимая чуть ли не половину освещенного пространства, вольно и удобно размещалась женская голова, вылепленная из маслянистой, никогда не виданной Черным глины, цвета не то позолоченной античной бронзы, не то женского тела экзотической смуглости. Собственно, и не голова, а словно бы бюст, но незаконченный, скульптор целомудренно

остановился там, где должны были начинаться округлые линии полной груди, решительно ограничил себя, оборвал, и вышел как бы намек на целое, вся фигура только угадывалась, а тут — только чуть склоненная голова, округлое плечо, такая же округлая рука, спокойно приподнятая на уровень плеча, чтобы поддерживать длинную, тяжело спадающую раскрыленную косу. Вторая коса намечалась с другой стороны головы, и там тоже должна была поддерживать ее рука. Но эта рука только угадывалась, угадывался конец косы, и плечо, и все тело женщины или богини, исполненное ленивой, сонной грации и спокойно-удовлетворенной красоты.

Фрагмент чего-то большого, может, и впрямь великого произведения, небрежная прихоть древнего ваятеля, неудавшаяся попытка нашего современника передать загадочность красоты? Вряд ли возникли тогда у Черного такие вопросы — он просто стоял перед той глиняно-золотой женской головой без движения, без мысли, что-то билось в нем тяжело и болезненно, но он не знал, что именно. Нравилось ему лицо женщины? Вряд ли. Глаза прищуренные, а какое же это лицо без глаз! И равнодушные такое разлитое по нему, будто никогда не знало оно высоких страстей, чуждое нежности, восторгам и доброте, а только тупую чувственность и ничего больше. В теле же не чувствовалось того полета, который рвет сердца. И беззащитности, пробуждающей в мужских душах чувство рыцарства, тоже не было. Сильное плечо, сильная рука, крепкая шея — разве же красота только в силе?

Но в то же время было в той голове, в сонном равнодушии идеального очерченного лица, в угадываемом точеном и утонченном теле нечто такое, что ошеломляло и обезволивало, говорило каждому о красоте, манящести, потаенных надеждах и вечности самой жизни.

Объяснить эту обольстительную красоту Черный не умел да и не стремился. Недаром говорят: если можешь рассказать, за что любишь, значит, не любишь вовсе.

Он стоял, смотрел и благодарил судьбу, что привела его к лавчонке, как бы сжалившись за все то, что пришлось ему с товарищами пережить в подземельях Белграда, терзался мучительными ранами памяти.

Старый седой антиквар возник словно ниоткуда, неслышно подошел к Черному, немного постоял возле него, потом тихо сказал:

— Афродита. Реплика прославленной Афродиты Родосской. Та — из мрамора, эта — только из глины, но, заметьте, какая же глина! Нашли сто лет тому назад во Фракии, долго кочевала она из рук в руки, сюда принесли наследники знаменитого нашего археолога. Наследники, как известно, готовы продать все.

— Не все же такие, — заметил Черный.

— Если вообще, то так. Ибо все мы наследники жизни. Но я о других. О детях и внуках выдающихся людей. Профессоров, генералов, писателей, художников. Нет зрелища тяжелее, чем вырождение.

— Может, не следует так обобщать? — осторожно посоветовал Черный старик.

— Ага, вы, я вижу, оптимист! Вы не верите в возможность отмирания.

— Я видел слишком много смертей, чтобы теперь дать убить себя и все вокруг, — сказал Черный.

— Вы солдат?

— Бывший.

— И философ?

— Допустим.

— Но вам близко искусство, у вас впечатлительная душа, если вы остановились перед моею Афродитой. На нее мало кто обращает внимание. Глина никого не привлекает. А разве же это глина? Вы присмотритесь к ней — она летит, распространяется на весь свет, покрывает все золотой сетью своих волос, своей любви. Дал ему в жены Мелхолу, и стала она ему сетью. Помните? Когда эта прекраснейшая из дочерей Зевса явилась из пены морской, богини судьбы Мойры определили ей единственную обязанность — любовь. Где ступала ее нога, там вырастали цветы и травы, и вся земля стала украшена ею, то есть любовью. Когда летела по воздуху, сопровождали ее голуби и воробьи, — эти символы любви и повседневных приятных хлопот.

Эта головка — лишь деталь мраморной статуи Афродиты Родосской, где богиня изображена не в пышности и величии, не в ослепительном сиянии своей красоты и соблазнительности, а в простоте и силе, которые способны создавать впечатление красоты еще более величественной, чем блеск и пышность. Богиня, словно крепкобедрая сельская девушка после сна, присев на корточки, лениво поддерживает распущенные волосы, она то ли прислушивается, то ли ждет, то ли вспоминает, и в этой неопределенности — залог существования и покоя.

— Вы хорошо рассказываете, — похвалил его Черный.

— Это еще не все, — предостерегающе поднял руку старик. — Обратите внимание на надпись. Видите? На предплечье. Вы умеете по-гречески?

— Читать умею. — Черный уже читал грубо врезанные в глину греческие буквы, из которых составлялись слова: «Мелайнис Андрофнос». — Читать прочитал, а значение? Тут ничего — про Афродиту.

— Немножко терпения. Мелайнис — то есть «Черная», — одно из имен Афродиты.

— Вы сказали — Черная?

— Да, Мелайнис — это и есть черная. Потому что творит любовь в ночной темноте, в тайнах и скрытности.

Черный чуть не крикнул, что он тоже Черный, то есть Мелайнис, а его бабушка звалась Меланкой — так что же это такое и возможно ли столько случайных совпадений?

— Андрофонос, — спокойно продолжал антиквар, — тоже одно из многочисленных имен богини любви. Означает: «мужеубийца», уничтожительница мужчин. Несколько неожиданно, но если как следует вдуматься... Ведь слова можно истолковывать и так и эдак. Гесиод, Аполлодор, Павсаний утверждают, что ей дано еще имя Урании — царицы гор, повелительницы моря и прорастаний, а Плутарх называет Афродиту Епитимбрия, то есть Могильная.

— Так что же — любовь и красота требуют крови и смертей для своего вечного торжества? — сразу отринутый от своих мучительных раздумий и воспоминаний, тихо спросил старика Черный.

Тот, словно бы видя, что происходит в душе Черного, мудро улыбнулся:

— И опять я вам еще не все сказал. Вы славянин, но по вашему произношению слышу, что иностранец. Славянам тяжело даются родственные языки. И вы — не враг.

— Друг.

— Вижу. Тогда я скажу вам еще такое. Эта головка в самом деле моя, она стоит здесь уже девятнадцать лет.

— Девятнадцать? Но ведь это же — год...

— Год освобождения Белграда? Да. Ее принес сюда гимназистик через несколько дней после смерти своего деда, прославленного нашего археолога. А дед умер в день освобождения Белграда.

— Был убит? — уточнил Черный.

— Умер, — строго поправил его старик. — Не надо так упрощать события. На войне люди могут просто умирать своей смертью, как и в мирное время. Необязательно всех убивать, чтобы они стали мертвыми. Так же необязательно, чтобы каждая антикварная лавчонка была партизанской явкой. «У вас продается славянский шкаф?» — такой, кажется, пароль, над которым все теперь смеются. Для опровержения банальности — я был простой антиквар. А профессор был только археолог и умер своей смертью. Может, от радости, увидев наконец свой любимый город освобожденным. Может, от старости. Не знаю. Гимназист принес Мелайнис Андрофонос, я только взглянул на нее... и... Тут можно пустить мысли привычными руслами, искать символы, прилепливать мифы к жизни... Не знаю. Ничего не знаю. Я выплатил гимназисту сумму,

которую он пожелал, выставил головку в витрине и девятнадцать лет всем, кто хочет ее приобрести, говорю, что продана, что скоро должны ее забрать. Не могу с ней расстаться? Тоже не знаю.

Смятение охватило душу Черного. Это неожиданное переплетение его фамилии с именем богини, почти мистическая история многочисленных прозвищ Афродиты, где так необычно (а может, в трагической закономерности?) соединяются красота и умирание, цветы и кровь, радость и отчаяние...

Все было, как нарочно, по его настроению.

А между тем мозг опытного сценариста уже обдумывал все вероятные возможности вкомпоновки этой истории в их фильм, придачи ей именно той символичности, от которой предостерегал его старый антиквар, ибо разве можно пренебрегать обобщениями, когда речь идет о жизни и смерти и о наивысших ценностях бытия.

Черный хотел сказать все это старику, попросить разрешения использовать эту историю и впоследствии снять целый эпизод в антикварной лавке (ясное дело, археолог не просто умирает — его убивают те, из подземелья, а вместе с ним убивают и красоту, но старый антиквар выступает ее спасителем), но того уже не было, он исчез так же неслышно и незаметно, как и появился, деликатно устранился, давая Черному возможность вдосталь полюбоваться ленивой красотой Мелании (Черный мысленно называл ее только так) Андрофонов.

Кто знает, долго ли еще стоял там Черный, никто не входил и не выходил, лишь по тротуару перед витриной мелькало множество ног — мужских, в крепкой обуви, маленьких детских, изящных женских, подпертых высоченными, твердыми, как сталь, «шпильками» (как раз тогда входили они в моду). Но никто не останавливался. Движение за окном на Черного не действовало, ничто не действовало на него, лишь то лицо из тысячелетней дали, эта маска покоя, скорбный символ страшной цены за красоту и любовь.

Неужели и впрямь есть что-то общее между одним из имен этой богини и его собственной фамилией или это только случайное созвучие. Мгновенное наваждение, которое сразу же и развеется, исчезнет без следа?

И тут что-то произошло. Словно весенним ветром повеяло рядом с Черным, молодой травой и молодыми яблоками, легучим запахом анемонов, называемых у нас ветреницами, — желтенькими звездочками украшают они зеленую беспределность некошенных лугов.

В лавочке был еще кто-то! Не отворялась дверь, не слышно было шагов, речи, даже дыхания — и все же в ней кто-то был, и не где-то, а

рядом с Черным, на расстоянии руки, еще ближе — на расстоянии его встревоженности.

Он осторожно косил глаз и весь похолодел. Рядом стояла женщина. Высокая, почти как он, в странного цвета (нечто серебристо-сиреневое, сизое, с огнем и задымленностью) платье, с глубоким вырезом на спине, без рукавов, в сущности, и не платье, а словно бы греческая туника, потому что держалось лишь на одном плече, а другое плечо, что ближе к Черному, оголено, и голая округлая рука плавно поднимается, чтобы придержать длинные распущенные волосы цвета кызылкумского золота, тогда как другая поддерживает волосы с другой стороны, потому что женщина чуть склонила туда голову, и волосы тяжелой волной падают следом.

Женщина была живая, от нее пахло анемонами и молодыми яблоками. Все в ее фигуре свидетельствовало о движении, порывистости, гармонически соединяясь со спокойной грацией, но в то же время поражала она какой-то как бы окаменелостью, веяло от нее непостижимым, почти неземным.

Заговорить с нею — и либо увериться в ее настоящести, либо развеются все чары! Но Черный не отважился подать голос, хоть и заглянул, не весьма учтиво наклонившись, в ее лицо. И невольно отпрянул! Это было лицо Мелании Андрофонос!

От неожиданности Черный забыл даже взглянуть на витрину — стоит ли там глиняная голова богини или его воображение наделило ее чертами эту женщину в серебристо-сиреневой тунике — пятась, на цыпочках, он осторожно вышел из лавки, тихо прикрыл за собою дверь, постоял, перевел мучительно и глубоко дыхание, приложил руку к глазам.

Что это могло быть? Его чрезмерная впечатлительность, голос предков, перенапряжение, переутомление и переистощение?..

Он отошел в тень, оперся на ствол платана, смежил веки.

По улице проходили люди, вверх-вниз, громыхали машины на городских магистралях, ворковали где-то, пожалуй, возле Народной Скупщины, голуби, клекот голосов долетал до Градской Кафаны, где-то неподалеку, за каменными рядами зданий, угадывался Калемегдан, веяло от него успокоительной стариной.

Черный успокаивался и не мог успокоиться. Стоял, пока не закрыли лавку. Женщина оттуда не вышла. Никто больше не вошел и не вышел. Может, и он там не был? Осторожно тронулся Черный по тротуару. В воздухе еще держалась жемчужная освещенность, но старый антиквар хорошо знал, как внезапно наступает здесь темнота, поэтому, запирая лавку, зажег в витрине две маленькие электрические лампочки.

Они едва рдели, почти не давая света, но и без них отчетливо видел Черный посреди витрины медово-золотистую голову богини любви, и казалось ему, будто и сейчас еще чувствует он летучий запах анемонов, маленьких ярко-желтых цветочков, какими усеяны все луга с весны и до осени. Греки считали, что анемоны — это капли крови Адониса, прекрасного юноши, в которого безумно влюбились сразу две дочери Зевса — Афродита и Персефона. Одна царствовала на земле, другая — в потусторонности. Адонис, конечно же, отдавал предпочтение солнечной Афродите, за что завистливая Персефона подговорила Аполлона стать диким вепрем и пронзить юношу клыками. Смертельно раненный, Адонис навеки спустился в Тартар, а из капель его крови выросли анемоны. Как-то так оно получалось, что у греков ни единый миф не обходился без крови. (Может, именно поэтому наши предки называли мифы словом «кошунды»?) Кровь лилась потоками и целыми реками, и хотя на той крови впоследствии будто бы вырастали цветы, все равно от всего этого оставалось довольно тяжелое впечатление. Ведь как ясно и, по словам поэта, даже несчастно усеяна земля такими цветами!

И снова упрямая мысль билась в Черном до муки, до стога, до изменежия: неужели затем, чтобы вечно жила красота, нужны вечные умирания? Ну, пусть действительно так, как в древних верованиях, где герои не умирают, не исчезают бесследно, потому что глаза их перейдут цветам, кости — камню, мысли — ветрам, слова — человеческим сердцам. Все так. Но неужели необходимы вечные страдания, кровь, гибель?

Черный ничего не сказал о своем удивительном приключении ни Сашку, ни Владо. В самом деле, была головка богини в антикварной лавке, вызвала она у него какое-то волнение, ну и что? Та загадочная живая женщина? Может, старый антиквар любит мистификации? Или это его помощница? Или еще нечто в том же роде?

Они продолжали биться над сценарием, сидели допоздна то у Владо дома, то в их гостиничных апартаментах, потом провожали друг друга домой, шли по сонному, непохожему на себя городу, на улице Маршала Тито, на Теразии видели, как невесть откуда, словно из-под самой земли, появляются загадочные маленькие люди («Гномы?» — удивлялся Сашко. «Цыгане!» — смеялся Владо) и мощными струями из широких пожарных рукавов моют тротуары, мостовую, каменные цоколи домов, ступеньки, террасы, делают свое дело умело, без суеты, суровые и молчаливые, как их Вергилий — Гойко. Друзья прекращали свои споры, шли молча, слушали, как шуршат по асфальту жесткие рукава, как шумит и ревет вода, очищая поверхность улиц от мусора, скопившегося за день. Что ж! Это повелители вод смывают мусор повседневности, а они уби-

рают мусор истории, очищают от него ее ярчайшие и драгоценнейшие скрижали.

Про улицу Нушича Черный не решался даже подумать, но непреодолимая сила влекла его туда, и что-нибудь через неделю он все же забрел в те места, однако не вошел в антикварную лавчонку, а остановился под деревьями поодаль от витрины, остановился лишь на мгновение, чтобы убедиться, что голова богини стоит на своем обычном месте, а то ее перевоплощение в молодую женщину — наваждение, бред, безумие.

Действительно, терракотовая головка стояла в витрине, и округлая рука поддерживала распущенные волосы, а другая, которая только угадывалась... Но Черному было уже не до другой руки. Под платанами, где он прятался от самого себя, остро запахло молодыми яблоками и анемонами. Черный вздрогнул от того аромата, отшатнулся, спасаясь, но спасения не было. Молодая женщина в серебристо-сиреневой тунике стояла рядом и голыми прекрасными руками пыталась привести в порядок свои буйные волосы цвета кызылкумского золота. Она была такая настоящая, суцая, живая, что Черный отчетливо видел, как в нежном углублении между ее лопатками золотятся крохотные, как роса, капельки пота.

Заглянуть ей в лицо, как в прошлый раз, Черный не отважился. Это было бы уже непросительной дерзостью, а может, и святотатством. Ужас почти мистический завладел им; едва отрывая ноги от земли, неуклюже пятаясь, чуть не стеноя от бессилия собственного тела и еще более тяжелого бессилия души, он медленно двинулся от заколдованного места, а потом бросился наутек уже по-настоящему.

Больше на улице Нушича Черный не был.

Фильм свой они все-таки сделали и летом следующего года отпраздновали его премьеру в Киеве, в кинотеатре «Украина», и в Белграде, в столичном кинозале «Олимпик».

Черный поехал в Белград с женой. Хотел показать ей город чарующий и загадочный, похожий своею стойкостью перед неистовством времени на Киев и все другие тысячелетние города, но в чем-то существенном и неповторимый.

В их беспорядочных странствиях по Белграду Черный — сознательно или бессознательно — завел жену на улицу Нушича. Они оказались перед антикварной лавкой, и тут кто-то совсем посторонний и неизвестный, голосом словно бы Черного, произнес:

— Зайдем?

— Как хочешь, — пожала жена плечами.

— Там такая приятная прохлада.

— Да я согласна, согласна, — ласково улыбнулась жена.

Кто еще умел так улыбаться! Но почему же именно тут и без видимой причины? Неужели она могла что-то подозревать, о чем-то догадываться? Но о чем? Черный пытался успокоить себя и в то же время чувствовал, как безмерно растет напряжение в его душе.

В лавчонке все было как прежде. Прохлада. Историческая рухлядь по углам. Широкая витрина, «лежавшая» на тротуаре. И «его» Мелания Андрофанос в центре освещенного пространства господствует и царит.

Жена не нуждалась в объяснениях. Она знала толк в таких вещах, к тому же обладала чисто женской решительностью, поэтому не стала разглядывать все это старье, а сразу шагнула туда, к витрине-окну, и взгляд ее замер на золотистой головке богини.

— Голова Афродиты, — сказал Черный.

Жена промолчала.

— Знаешь, как ее называют? Мелайнис Андрофанос. Слышишь? Как Мелания. А ведь моя фамилия от геродотовских меланхленов, поскольку «мелан» по-гречески «черный».

— Ах, не морочь мне голову, — отмахнулась жена. — Вечно ты что-нибудь выдумываешь.

Черный сник. Ему стало обидно и горько. Он ждал, что жена заинтересуется, начнет расспрашивать, что появится старый антиквар, расскажет им о Мелании Андрофанос, и они уйдут отсюда умиротворенными, со светлым настроением в душе. Но жена упорно стояла перед головой богини и молчала. Старый антиквар не появлялся, смутнение и растерянность в душе Черного нарастали, пока внезапно не пронзило его острым запахом молодых яблок и анемонов, он вздрогнул, как от неземного холода, беспомощно вздохнул (не вздох, а вскрик), украдкой скосил глаза в ту сторону, где была жена, и увидел, что между ними стоит женщина в серебристо-сиреневой тунике и изо всех сил пытается дивными округлыми руками укротить роскошные волосы цвета кызылкумского золота. Туника открывала обращенное к Черному левое плечо женщины, он явственно видел на его прекрасной выпуклости золотистые капельки пота, такие же капельки золотились и в обольстительном углублении на ее спине. Не могло быть сомнения, что это живое земное существо. Растревоженность Черного достигала теперь предела паники и отчаяния, однако он не решался выказать свое состояние, а только неуклюже завозился, и когда жена направила на него вопросительный взгляд, одними глазами указал ей на женщину между ними.

— Что с тобой? — обеспокоенно спросила жена.

Черный хотел незаметно подать ей знак, призывая к тишине, к осторожности и почтительности перед тем, что тут происходило, но же-

на решительно шагнула к нему, полным любви жестом прикоснулась к его щеке, заглянула ему в глаза, еще раз спросила:

— Что с тобой?

Черный почти с ужасом смотрел туда, куда шагнула жена.

Между ними не было никого. Никакой женщины, никакой загадочности, ничего.

Что мог он ответить жене?

— Наверное, на меня подействовала жара,— неумело солгал Черный.

— Тут и впрямь слишком душно. Не надо было сюда заходить.

Черный промолчал. Не надо? О нет! Надо, надо!

А потом они сидели в квартире Владо на улице князя Михаила, и мама Голубовича носила жене Черного кофе и толстые семейные альбомы в тяжелых аксамитах и старых сафьянах с фотографиями усатых Голубовичей, Обрадовичей, Обреновичей или кто там их знает, как еще, а Черный тихо рассказывал Владо о своем удивительном приключении с Меланией Андрофоновой с улицы Нушича.

Владо не удивился, повествование не ужаснуло его, напротив, он обрадовался, как ребенок, засмеялся, замахал руками, подпрыгнул в кресле.

— Это бывает. Это у нас часто и со многими бывает! Особенно с северными людьми.

— Ну я не совсем северный.

— Все равно гипербореец. По отношению к нам все славяне, кроме болгар, северные. У вас особая ментальность. Вы не выдерживаете напряжения, которое создается здесь землей, солнцем, ветрами, историей, нашей судьбой. Говоришь, улица Нушича? Идеальное место для впечатлительной души и богатого воображения. Влажные испарения из Савы и Дуная, горячие волны воздуха Калемегдана, могучее дыхание большого города — какие еще объяснения нужны для растерянности иноземца?

Владо, увлекшись, выдвигал еще какие-то пояснения, но душа Черного их не принимала. Он был далеко и от слов Владо, и от этих комнат, наполненных сухим шорохом тысяч подошв по тротуарам улицы князя Михаила, и от этого города, который называли когда-то «вратами» — вратами народов, жизни, красоты, но в то же время войн, боли, умираний. И было Черному неизъяснимо тяжело.

Жена, отложив альбом с усатыми предками Голубовичей, неслышно появилась возле него и, встревоженная, ласково спросила:

— Что с тобой снова?

Черный не знал, что ей ответить.

Он подумал, что, может, когда-нибудь напишет сценарий, повесть или просто рассказ, и жена, прочитав то несвязное повествование, поймет, чем мучилась тут его душа.

ДУХ ЧИНГИСХАНА

Юрию Кондуфору

Как Гаваа угадывал дорогу, капитан Бояр постичь не мог. Бескрайняя степь, чуть освещенная тусклым месяцем, который украдкой проглядывал сквозь пепельно-черные облака, расстилалась во все стороны с таким убийственным однообразием, что нечего было и думать зацепиться тут за что-нибудь глазом. Ни деревца, ни кустика, сухой снег под колесами, только где-нибудь незаметный бугорок, а в другом месте впадина, «газик» то подпрыгнет, подскочит, то легко скатится вниз, то насилу вскарабкается по скользкому склону, но куда тут ехать, где искать следы, как найти сомон — одинокое отдаленное стойбище, — этого Бояру ни вообразить, ни понять, ни отгадать.

А Гаваа ехал по монгольской степи, словно по улице большого города, оснащенной указательными знаками, светофорами и доброжелательными регулировщиками. Еще и песенку себе под нос мурлыкал. Правда, песенка из одного слова, но разве это существенно?

— Однако главное в песне не сколько слов, а сколько мыслей, — пояснил он капитану, когда тот подивился такому ограниченному пению.

— Но ведь у тебя только одно слово. Какие уж там мысли?

— Одно? А какое слово, товарищ капитан? Бамбуйка! Понимаете?

— Что это такое?

— Река.

— Река? А при чем же тут песня?

— А что такое река? Река — это когда кончается сухая степь, когда начинаются зеленые тенистые леса, когда тайга и глубокие снега, а в тайге — медведи, лоси, кабаны, соболи, может, и тигр есть. Вот такая песня!

Оба были в овчинных полушубках, в валенках, меховых рукавицах, потому что в «газике», почти как и в степи, — не надышишь, не нагреешь. Переднее стекло замерзло изнутри, обрастая толстым слоем инея, и Бояр то и дело протирал его торбочкой с солью, следя, чтобы окошечко было прозрачным хотя бы перед глазами у водителя. Гаваа смеялся.

— Однако мне и смотреть не надо, угадываю дорогу вслепую.

— Степь тут такая, что уже и не человек ее может знать, а разве что она человека, — сказал раздумчиво Бояр. — Степь просторна, а людей в ней словно бы и нету. Мало людей.

— Мало? — удивился Гаваа. — Однако кто собрал полушубки для пятнадцати тысяч красноармейцев, для целой дивизии? Разве не арматы? А кто подарил вашему фронту танковую колонну «Революционная Мон-

голия»? А разве маршал Чойбалсан не передал маршалу Сталину два миллиона тугриков для эскадрильи «Монгольский арат»? Откуда берутся тугрики? Их дают люди. Значит, есть люди в монгольских степях. Разве ты их не видел, товарищ капитан? И разве не принимал в аймаках в фонд помощи вашей армии коней, верблюдов, овец и коз?..

— Не могу привыкнуть к зимам в этих степях,— вздохнул Бояр.

— Зимой над степью летают духи зла,— объяснил Гаваа.— Семья собирается в юрте, хозяин приносит аргалу, разжигает огонь, и духи зла отлетают.

— А кто окажется в степи, как вот мы?

— Однако монгол не страшится. Зима дает ему силу. А лето он не любит. Летом все лениво: люди, звери, трава.

— Еще я не встречал здесь волков,— сказал Бояр.— Волки в этих степях водятся?

— Однако волки есть. Скота много — много волков. На мягкую травку — жестокое солнце. Всегда так.

— Я слышал, будто у вас есть легенда, что дух Чингисхана после его смерти вселился в гигантского хищного волка и что тот волк доныне где-то блуждает в монгольских степях. Ты слышал про Чингисхана, Гаваа?

— Однако слышал. То не монгол.

— Как это? Я учитель истории, знаю.

— А что ты знаешь, товарищ капитан? Видишь, какие монголы? Добрые и простые. А этот родился, как волк. Перегрыз всех своих. Братьев, родственников, мать, сына своего старшего Джучи убил только за то, что тот не стал такой жестокий сердцем, как он сам. А потом пошел в другие земли, на другие народы. Однако не траву нюхать пошел.

— Это я знаю.

— В детстве Чингисхан боялся собак. Может, и волком стал, потому как волки больше всего собак боятся. Боятся и ненавидят. А он был и собака, и волк.

Бояр молчал. Мог бы рассказать Гаваа про Калку и сожженный Киев, о том, как в Средней Азии за три года орды Чингисхана уничтожили столько, что не удалось восстановить того и за шестьсот лет, о том, как отомстил кровавый Темучжин афганскому городу Бамиану, где от случайной стрелы погиб любимый его внук, сын Чагатая, Мутукен. Когда Бамиан взяли, Чингисхан велел уничтожить под корень все живое: людей, скотину, диких животных и птиц, не брать ни единого пленного и никакой добычи.

Но разве только Чингисхан? Александр Македонский за смерть Ге-

фестиона тоже платил опустошениями и массовыми убийствами. А фашисты в своем озверении превосходили наикровавейших убийц.

Может, Гитлер — это порождение миазмов и свалок Европы, — но тогда как же мог появиться в этих вольных и дико прекрасных степях Чингисхан?

— Как же могло случиться, что монгольская мать родила такого страшного человека? — вслух подумал Бояр.

— Однако разве то матери рожают таких людей? — спокойно возразил Гаваа.

— А кто же?

— У Чингисхана был шаман Кокочу. Страшный человек. Снег под ним закипал, когда он садился, и пар бил до самого неба, слова его были тоже, как тот пар из растопленного снега. Он кричал Темучжину: «Бог повелел, чтобы ты стал властелином мира!» Потом Темучжин убил и Кокочу, потому что шаманов нужно убивать. Но слова их ползут, как змеи.

— Шаманов убивают за то, что они помогают прийти к власти, — сказал Бояр. — Не убьешь — они так же добудут власть другим. Ты знаешь, как умер Чингисхан?

— Однако откуда мне знать?

— Он не верил, что должен когда-то умереть, и искал способы для жизни вечной. И чем больше убивал людей, тем сильнее хотел жить вечно. Не желал знать той простой истины, что когда убиваешь других, то в то же время сокращаешь и жизнь собственную. И вот, когда он был уже старый и обессиленный походами и злобой, услышал, что в Китае есть даосские монахи, ученики великого мудреца Лао-цзы, обладающие тайной бессмертия. Сам Лао-цзы прожил более двухсот лет и мог бы жить дальше, но устал и отошел к предкам, оставив своим ученикам мудрость и знания вечности. Продолжительность их жизни зависит от глубины познания всего сущего и от неуклонного соблюдения познанного. Чингисхан был в дальнем походе на реке Джейхун, там он упал с коня, и впервые перед ним явилась смерть, и он испугался и послал в Китай к даосскому монаху Чан Чуню, знавшему тайну бессмертия. Чан Чунь долго шел к Чингисхану, надеясь, что сможет уговорить этого кровожадного человека прекратить войны и вернуть людям мир. Он нашел этого повелителя войны и мира, жизни и смерти немоощным и испуганным, хотя и окруженным пышностью и покорностью, днем и ночью охраняемым кешиктенами — головорезами, укутанными в дорогие меха, в лисьей шапке с соколиным пером, в сапогах с носками, похожими на свиное рыло. Чингисхан спросил у Чан Чуня: «Ты знаешь тайну бессмер-

тия?» Тот ответил: «Есть способы сохранять свою жизнь, но нет лекарств бессмертия».

Чингисхан отпустил даосцев со щедрыми дарами, в заносчивости своей решив, что он сам превыше всех мудрецов. Они не обещали ему бессмертия, а он верил, что найдет его в новых войнах и в новых убийствах и истреблении, потому и пошел на тангутов, с которыми дрался всю свою жизнь. Там, под стенами столицы тангутов Си Ся, снова сбросил его на землю конь, и снова умирал Чингисхан, теперь уже по-настоящему, но снова требовал от своих сыновей и полководцев крови и смертей, смертей и крови, как будто хотел отплыть в ее страшных потоках в ту вечность, к которой так стремился своим жестоким сердцем. Там он и умер в пятнадцатый день середины осени года свиньи, что по-нашему означает — двадцать девятого августа тысяча двести двадцать седьмого года. Могила его там, где он умер, но тело, по его завещанию, перенесли в Монголию на гору Бурхан-Халдун, убивая всех встречных на пути, чтобы никто не знал и не ведал о месте его захоронения. Кровавая тень над землями, кровавые символы его похорон. Живой дух этого кровавого человека исчез, а дух истребления и жестокости продолжает летать над миром. Чингисхан хотел, чтобы поклонялись духу его, а не телу. А дух свой передал хищному волку. Ты слышал об этом, Гаваа?

— Однако как не слышать? От горы Бурхан-Халдун до низовья реки Онон, где родился Чингисхан, шесть дней пути. Под соснами, над долинами, где текут Онон и Керулен, может, и до сих пор лежит тот кровавый человек. Но разве мы от него? У нас есть священные книги, они записаны на дереве, на коже, на бумаге и на золотых таблицах. Никто не писал на золоте, а бедные монголы писали! И там сказано: «Да не расстанутся все разумные существа с радостью без страданий». И еще сказано там: «Единственный круг нашей взаимной тоски и любви». А потом и такое: «Спаси нас, охваченных потопом круговерти перевоплощений».

— Ага! — почти обрадованно воскликнул Бояр. — Значит, вы все же верите в перевоплощения? А если так, то легенда о том, что дух Чингисхана вселился в гигантского хищного волка...

Гаваа решил, что сказал и так уж слишком много, и снова затыкнул свою бесконечную песню из одного слова: «Бамбуйка-а-а... Бамбуйка!»

А Бояр тоже устал от разговоров о кровавой истории. Что ему Чингисхан, его волчий дух? Разве не было у него своих собственных забот? Упорно писал рапорты с просьбой отправить на фронт в действующую армию, но ответ был все тот же: «Исполняйте службу на определенном Вам месте!» Да и какой из него фронтовик? Это только Гаваа называет его «товарищ капитан», а он ведь самый обычный интендант. Закончится

война, победители будут хвалиться орденами и медалями, а он?.. Разве что лошадьми и верблюдами, которые собирал в этих пустынных степях и посылал в фонд Победы?..

— Однако,— спокойно произнес Гаваа,— вот мы поговорили о нем, а он уже тут.

— Кто? — встрепенулся Бояр.

— Однако волк. И не волк, а целый Чингисхан! Сколько я их ревидал, а такого — никогда!

Бояр стал быстро протирать торбочкою с солью стекло перед своими глазами, но в темной пустоте ничего не мог различить. Черная степь, черный снег, черная безвестность.

— Да вот же он, вот! — кричал Гаваа. — Я ему присвечу! Однако от фар он уже не убежит никуда!

Только теперь Бояр увидел далеко впереди, там, где свет исчезал в темном мраке, нечто невыразительное, беспорядочные перескоки, дикий, злой гон.

— В самом деле волк? — почти обрадованно воскликнул он.

— Однако,— прокашлял довольный Гаваа. — Бежит быстрее, чем машина.

— Может, его из карабина?..

— Догоним.

— Но ведь быстрее?

— Однако волк долго не пробежит, а машина железная. Да еще пощекочу его фарами.

До сих пор ночь была, так сказать, сплошная для них обоих и для их машины. Преодоление пространства, тьмы, мороза — однообразие и монотонность, даже страх заблудиться или разбить машину на бездорожье отодвинулись совсем далеко, а может, они его просто отгоняли то неторопливой беседой, то столь же неторопливыми мыслями, то привычным для них молчанием, когда уже и не думаешь ни о чем, а только заученно делаешь то, что положено.

Теперь ночь как бы располовинилась. Их машина, завывая мотором, вызванивая железом, стеной, поскрипывая, захлебываясь холодным ветром, летела в коротком четырехугольнике пространства, освещенном фарами, и в том узком четырехугольнике черно серебрился снег и пепельная мгла то сердито подпрыгивала перед машиной, то снова падала на нее отовсюду, как будто грозила не пустить дальше, похоронить навеки среди этой безмолвной беспредельности. А там, где кончался слабый свет фар и где сразу начиналась резкая грань страшной черноты, исполинское серо-бурое чудовище гнало перед собой ночь, тьму, билось об нее ногами, грудью, всем мощным телом, и с каждым прыжком пры-

гала и тьма, и свет никак не мог догнать его или хотя бы приблизиться на узкую полоску.

— Ох и мчится! — почти с восторгом воскликнул Бояр.

— Против ветра прет, — спокойно кинул Гаваа.

— Заведет нас далеко в сторону.

— Однако степь просторна. Свернем, если понадобится.

— И долго он будет так бежать?

— Однако может и всю ночь.

— Да ты что? Не будем же мы вот так за ним до самого утра!

Гаваа ничего не ответил. Капитан был слишком разговорчив. И нетерпелив. А в этих степях нужно быть терпеливым. Раз начал какое-то дело, доводи до конца. Гонишься — не спускай с него глаз. Удираешь — не оглядывайся. Вот как тот волчище. Кто оглядывается, тот погибает. И в бою, и в жизни.

Волк еще долго гнал впереди себя тьму, не подпуская к ней смертельный для него свет. Пока не исчерпал силы, мчал огромными прыжками, неутомимо и ожесточенно, с понурой угрозой; утомившись, стал метаться в стороны, вертеться по-собачьи, подставляя под свет то один, то другой бок, но не оглянулся ни разу, хотя уже часть его тела очутилась в освещенном пространстве, и как ни норовил он затянуть, спрятать свое длинное тело во тьму, тело как бы еще больше удлинилось, вытягивалось к свету, и вскоре в темноте металась только огромная волчья голова, а потом стала высовываться оттуда и она, снова завертелся зверь беспомощно и обессиленно, и Гаваа спокойно сказал:

— Однако теперь мы его ударим.

Тьмы уже не было. Ночь снова соединилась двумя своими половинами, теперь в пространстве господствовала мерцающая серость, нечто омертвелое, кладбищенское, ни свет, ни тьма, невыразительность, неопределенность для земли, для снега, для воздуха и для неба, для людей и для всего живого, но не для машины, которая всем своим упорным железом надвигалась на смертельно изнуренного зверя неотвратно, неминуемо, как несчастье и гибель.

В последний миг волк все же сделал то, что запрещали ему дикие законы тысячелетий: он оглянулся. Может, чтобы огрызнуться, в последнем отчаянии вогнать зубы во врага, может, в попытке напугать, остановить, отвлечь неизбежность и тем спастись? Но этим лишь безнадежно сгубил себя. Потому что пока он оглядывался, забыл о своем теле, забыл бросить его вперед, гнать дальше и дальше, и оно враз отяжелело, обезволилось, утратило всю проворность и хищное совершенство, уже оно как бы и не принадлежало зверю, не было гениальным созданием природы, где железная сила мышц соединяется с таким острым чутьем,

которое способно улавливать дрожание лучей отдаленнейших звезд, — только неуклюжая куча костей, обтянутая грубой кожей в жесткой, как будьяля степных трав, шерсти, готовая к гибели, к смерти, собственно, уже мертвая, неживая, никчемно мертвая, падаль, прах.

Гаваа оберегал радиатор, поэтому, когда волк оглянулся и подставил отощавший свой бок, он умело вывернул машину так, что ударил зверя правым колесом, краем бампера и крылом, ударило словно бы в камень или ствол толстенного дерева, ударило и прогремело, машина содрогнулась всеми своими креплениями и связками. Бояра бросило вперед так, что он чуть не врезался в стекло и виновато взглянул на Гаваа, который спокойно выворачивал машину в сторону, выключая рычаг скорости.

Капитану первому надлежало бы распоряжаться, руководить дальнейшими действиями, но он никак не мог прийти в себя и только способен был на то, чтобы повторять все, что делал Гаваа. Тот остановил машину и мигом открыл дверцу. Бояр сделал то же самое. Гаваа выскочил на снег и побежал туда, где должен был лежать убитый волк, капитан бросился за ним. Фары светили куда-то в простор, но света было достаточно, чтобы увидеть убитого зверя, увидеть, какой он огромный, хищно страшный даже после смерти — могучие лапы словно бы и дальше загребают тьму, широченная каменно-твердая грудь, готовая биться обо все на свете, гигантская пасть с ощеренными зубами, готовая растерзать и проглотить все живое, мстя за свою смерть, не ведая ее и не веря в нее.

— Однако взяли! — скомандовал Гаваа, берясь за передние ноги волка и тем самым спасая капитана от близости к той страшной пасти, тех острых, крепких, как сталь, зубов и темной тяжелой угрозы.

Бояр взялся за задние ноги волка, они попытались поднять зверя, который вблизи представлялся беспорядочной кучей мослаков, поражал истощенностью, а на самом деле оказался таким тяжелым, будто примерз к земле.

— Однако, пожалуй, не поднимем? — удивился Гаваа.

— Я и сам удивляюсь, — сказал Бояр.

Они потащили волка по снегу, потом долго принаравливались, впихивая его на заднее сиденье машины, оба были мокрые от пота, и когда наконец заняли свои привычные места, то Гаваа даже снял рукавицы, расстегнул полушубок и поднял наушники шапки, а Бояр лишь расслабленно раскинулся на сиденье, забыв даже о своей обязанности протирать солью ветровое стекло от обмерзания. Он действительно был весь мокрый, но то не был горячий, радостный пот приятной и полезной работы, а что-то тяжелое, холодное, безнадежное, и ему стало еще холод-

нее в машине, еще сильнее донимал мороз, неприятная дрожь сотрясала все его тело, казалось даже, что пощелкивают зубы, и Бояр пугливо поглядывал на своего водителя: не слышит ли тот этого щелканья?..

В машине, может, оттого, что они открывали дверцы с обеих сторон, или потому, что бросили в нее то страшное, насквозь замороженное волжье тело, стало так нестерпимо холодно, что Бояр даже хотел посоветовать Гаваа, чтобы тот не очень-то расстегивался и разнеживался. Но вовремя сообразил, что вряд ли это стоит делать. Потому что именно в этот миг отозвался Гаваа, который до сих пор молчал, только на бешеной скорости гнал машину, будто любой ценой стремился как можно дальше отскочить от того места, где они догнали этого окаянного зверя.

— Свернул уже, куда нам надо? — спросил его Бояр.

— Гаваа все знает, — откликнулся тот.

Тяжкий волчий дух заполнял машину. Становилось все холоднее и неприкаяннее, волчий дух как бы жаждал вытеснить отсюда этих одиноких, собственно, ограниченных в своих возможностях людей, воцарился над ними даже после своей смерти, мороза их неземным холодом, выходящим из каждой его шерстинки, из его твердого, огромного тела.

— Не очень приятный у нас пассажир, — вздрагивая, произнес Бояр. — Как думаешь, Гаваа?

— Однако шубу раздобыли хоть и для генерала! — беззаботно отозвался тот.

— Мы же не охотники. Да и надо ли быть ими?

— Охотники — святые люди, товарищ капитан. Они убивают то, что не дает жить.

— Почему же они не убили когда-то Чингисхана и не спасли мир от уничтожения?

— Однако он оказался охотником половчее. Собрал вокруг себя молодых негодяев, а потом опытных мерзавцев — и этим одолел весь свет. Кто мог стать против него? Этого волка догнала машина. Я никогда не видывал такого волка. Может, это и не зверь, разве я знаю? Однако машина грамотная, а волк дикий.

— Чингисхан завоевывал земли с высокой грамотностью, — заметил Бояр. — Истреблял там все, и снова воцарялась дикость.

— Однако, может, и лучше, что он был неграмотным? — осторожно заметил Гаваа.

— Какая же тут радость? — возмутился Бояр, но тут же подумал и ужаснулся оттого, что открылось ему внезапно в услышанном только что от Гаваа. Мы привыкли считать грамотность, культуру, цивилизованность значительными преимуществами, а действительно ли стоит им и

впрямь только радоваться, приветствовать их, стремиться к еще большим высотам и достижениям? Все ли на свете способно и достойно выдержать эту драгоценную ношу? И нужна ли высокая цивилизация для того дикого зверя, что лежит позади тебя, совершенно случайно побежденный тобой, убитый, уничтоженный, а мог бы безжалостно уничтожить и тебя, не интересуясь никакими взлетами и утонченностью твоей мысли? Страшно было бы и представить себе кровавого Чингисхана еще и грамотным. Разве не достаточно иметь для этого перед глазами Гитлера? Говорят, прежде чем начать против нас, против Европы, против всего света фашистскую свою войну, он прочитал десять тысяч книг о военном искусстве всех времен и народов. Чему же научился из них? Разве что еще большей кровожадности. И, может, следовало бы навсегда запретить писать и читать книги, в которых только железо, кровь, смерть?..

Когда много железа, рано или поздно прольется кровь, неминуемо должна пролиться. Эпохи невежества и одичания наступают после плохих властителей, и обошлось ли хоть одно столетие без того, чтобы не отдать власть какому-нибудь маньяку? Чингисхан родился на краю земли, оскорбленный и обделенный уже от рождения, озлобился душой и всю жизнь мстил за это миру, хотел завоевать все горы, в которых прячется железо, и всех богов, которые не знают и не признают его веру, все травы для своих скакунов и всех скакунов для своих воинов. Ну ладно. А Гитлер? Молодость провел в одном из великолепнейших городов мира, жил в центре старой Европы, задышавшейся от чрезмерности богатств и роскоши.

У того глаза алкали богатства мира цивилизованного.

У этого — дикая алчность к миру нетронутому, с неисчерпаемыми богатствами.

Неужели так будет всегда? И неужели вечно будет метаться по земле хищно ощеренный дух зла и истребления? Неужели одичавшие орды снова и снова будут наползать на землю и псевдопророки поведут на гибель целые народы?

Волк, Чингисхан, Гитлер — все сплелось и переплелось, все наполнило Бояра отвращением и содроганием еще и посильнее, чем лютый мороз, воцарившийся в машине от задубевшего волчьего тела; война, хоть и далеко она отсюда, казалась капитану еще отвратительнее и непеносимее, и душа его страдала среди этих просторов безнадежно и тяжело, до слез. Даже обыкновенной радости охотника, добывшего крупную дичь, не ощутил и хотел спросить у Гаваа, чувствует ли ее хоть тот, и если так, то почему не заводит свою «Бамбуйку», повернул лицо к водителю и замер — в ужасе уже и не земном, а потустороннем.

Разделяя их обоих, разъединяя смертельной угрозой, наверное, еще колеблясь, кого выбрать, на кого броситься, между ним и Гаваа гигантским смердящим клином нависала волчья морда, и щерились острые клыки, и адское хрипенье вырвалось из пасти, и выпученные глазищи горели где-то вверх неземным испепеляющим пламенем. Они не убили волка, а только оглушили, и он оклемался в машине, выкарабкался из беспамятства, снова овладел своим могучим телом, поднялся на ноги, оперся о переднее сиденье, навис над своими преследователями, как неизбежная кара времен.

Бояр не знал, почувствовал ли воскресение волка Гаваа, не мог подать своему товарищу никакого знака, отозваться словом или звуком. То же было и с Гаваа. Двое молодых, сильных, вооруженных мужчин враз очутились в безвыходе, были напрочь беспомощными перед этой воплощенной смертью, в жестоком спокойствии нависавшей над ними, они не могли ни перемолвиться между собой, ни помочь друг другу, ни переглянуться, но какая-то искра сознания вдруг пролетела между ними, и оба выверенно до десятой частицы секунды, с невероятно, прямо-таки сверхъестественной осторожностью в движениях, одновременно ударили по ручке автомобильных дверей и с такой же безмолвной синхронностью вылетели на мороз, хлопнув с обеих сторон машины дверцами, за которыми остался волк.

Правда, Гаваа еще успел перед этим выдернуть из зажигания ключи, но то уж относилось к его водительским обязанностям и делалось машинально даже и не при таких чрезвычайных обстоятельствах.

Машина прокатилась несколько метров и остановилась. Мотор затих, теперь лишь вой ветра над степью да собственное спазматическое дыхание слышались им обоим, они молча сошлись за машиной, попытались заглянуть в нее, но ничего не увидели, потому что темно и толсто намерзло на стекле.

— Однако рукавицы забыл, — сказал Гаваа.

— Рукавицы — не голова, — утешил его Бояр.

— Никогда не видывал такой зверюки. Волк это или другое что?

— Может, и не волк.

— Однако что же тогда?

— Теперь и я уже ничего не знаю. Может, и вправду дух Чингисхана?

Гаваа не ответил. Может, и верил в духов зла, летающих над этими степями испокон веку, но ведь те всегда были бестелесны и не очерчивались точными временными измерениями, пусть даже и на несколько столетий, а этот имел звериное подобие и хищной выдержкой превосходил все ведомое и неведомое.

— Однако после такого удара и бык не поднялся бы.— Гаваа не скрывал своей растерянности, но теперь уже промолчал Бояр, не зная, что сказать, и чувствуя себя таким же растерянным, если не бессильным.

Снова не стовариваясь, как и в машине, держась друг за дружку, они обошли машину вокруг, потоптались возле радиатора, который тихо потрескивал на морозе, потом очутились возле левой, водительской дверцы, снова попытались заглянуть внутрь, но снова ничего не увидели. Гаваа попробовал закурить и обнаружил, что и папиросы, как и рукавицы, тоже оставил в машине. Еще немного потанцевали, утаптывая снег вокруг колес, и только тогда Гаваа спохватился:

— Однако еще немного — и вода в радиаторе замерзнет.

Бояр не спрашивал, что последует дальше. Знал и так. Заледеневшая машина с волком внутри, они на морозе, а вокруг во все стороны — сотни километров безлюдной степи. Как старший, должен был принимать решение.

— Говорил же тебе — из карабина, — осуждающе молвил он. — Хлопнули бы этого волчищу — и никаких забот.

— Однако карабин в машине.

— Это я знаю. Может, попытаться из пистолета?

— Однако не видно ничего.

— Но должны же мы что-то делать? Может, давай так. Ты потихонечку открывай дверцу, а я встану напротив, и как только он высунется, я его в лоб!

— Однако пистолет волка не пробьет!

— Да ты что! Камень пробивает, не то что волчий лоб! Давай отворяй потихоньку!

Они изготовились. Гаваа, прижавшись всем телом к дверце, чуть заметно стал нажимать на ручку, Бояр с пистолетом в руке застыл напротив и теперь боялся лишь одного: а что если волк не захочет выходить из машины? Не станешь же выгонять его оттуда, как приبلудного пса? Но не успел он это додумать, как что-то щелкнуло, грохнуло, темная сила ударила его в грудь, отбросила далеко в сторону, швырнула на холодный снег, пистолет вылетел из его руки, которая, кажется, даже вывихнута была в плече. Бояр лежал на твердой земле и не знал, живой он или мертвый и на каком свете. Стон послышался от машины, потом смех, затем голос Гаваа:

— Товарищ капитан!

— Ну!

— Живой?

— Слышишь же.

— Однако и я живой!

— А где волк?

— Однако уже нету.

Гаваа подошел к Бояру, помог ему встать. Какое-то время оба смотрели в холодную тьму, в которой безмолвно исчез гигантский волк.

— Как дух Чингисхана, — задумчиво молвил Бояр. — Снова будет метаться по земле, бесноваться, а кто его остановит?

— Однако машина замерзает! — крикнул Гаваа и побежал заводить мотор.

Когда уже уселись и тронулись, он закурил папиросу, смачно затянулся и засмеялся:

— Однако дверцей по зубам! Никто не поверит! Никогда не поверят. В такой просторной степи — и дверцей по зубам! Не мы стерegli волка — он нас стерег. Кто виноват? Гаваа виноват!

Бояр, медленно согреваясь, слушал его слова, думал о добровольном благодетеле Гаваа, который так легко и охотно брал на себя вину. Как мало на свете людей, способных на такое!

КОРОВИЙ ДЕТЕКТИВ

Винбари ставили пьесу. Дядько Сашко и Василь Андриевский играли красных партизан, а Микита Стрижакин — махновца. Вылетел на сцену с голой саблицей, в мохнатой папахе, в красных галифе, рванул из-за пояса черный маузер, стал стрелять прямо в людей и в Петька, сидевшего среди взрослых в первом ряду. Петько дико испугался, заплакал, закричал: «Мама!»

Подбежал дядько Сашко, схватил Петька на руки, понес за сцену, где Микита Стрижакин уже был без папахи, без сабли и маузера, все передавали мальчика друг другу, смеялись, подбадривали:

— Ты ж геройский хлопец! Не надо пугаться! Маузер деревянный.

— Ага, деревянный! А стреляло ж! — всхлипывал Петько.

Утром он погнал коров на пастбище. Свою, дедову и Феньки Белоусовой. Свою и дедову пас, потому что надо, а Фенькину за плату: или пятнадцать копеек в месяц, или выстрелянный картонный патрон из ружья Василия Михайловича, Фенькиного мужа, счетовода на каменоломне.

Трава с ночи уже стала примерзать, и коровы искали ту, что без инея, согретую утренним солнцем. А Петько тоже искал теплую траву для своих босых ног.

У деда Приминного пропала рябая корова с надломленным рогом. Через три дня в плавнях возле Олейнички нашли от нее только требуху, рога и копыта. Один рог был надломлен, по нему и узнали, чью именно

корову тут зарезали. Приминный не очень убивался за коровой, селяне посмеивались: «Не умрет! У него еще четыре осталось!», — но тут одна за другой пропали аж три коровы — у Говоруна, Лося и Ляпки, — и село встревожилось. Снова находили требуху в плавнях, то там, то там, но всякий раз между Олейничкой и Дубиной, поэтому подозрение неминуемо должно было пасть на братьев Кривокордов, так как их хата стояла на краю Дубины. Дубиной прозывался тут большой дубовый лес, тянувшийся вдоль Днепра чуть ли не до самой Келеберды. По другую сторону начиналась Сосна, то есть сосновый лес, который кучегурами шел до самой Переволочни, а между Сосной и Дубиной — зеленые просторы трав, загадочные озерца между ними, как небесные глаза, тысячеголовый мир птиц и золотые солнечные волны. В плавнях пасли коров, косили сено, ловили рыбу, собирали хворост, хорозяли утиные и гусиные гнезда, по весне девчата рвали цветы, выроставшие прямо из теплых вод, которые каждый год, щедро и своевольно, расплескивал Днепр, но жить тут никто не отваживался.

А братья Кривокорды жили.

Промышляли зверем и рыбой, плели сети, верши, корзины из лозы, делали ножи с рукоятками из черного дуба и с медными заклепками, шили чеботы-вытяжки, дубили овчины для кожухов, шорничали, мастерили телеги и колеса; кажется, не было ремесла, которого бы не знали эти три брата — Гаврило, Захарко и Василь, — высокие, крепкие, черноголовые, большеглазые, точно святые на иконах или разбойники из жутких повествований бабки Бородавчики.

Но о братьях Кривокордах — это все так, между прочим, а следы от воров тоже вели в плавни.

Дядьки не имели обычая топтать след. Что с воза упало, то пропало. А надо беречь то, что есть. И каждый кинулся выдумывать нечто такое, чтобы перехитрить воров. Замки и двери? К каждому замку найдется ключ, а двери поднимут ломом, снимут с петель — и все дела. Сторожить самим? У кого было ружье, тот сторожил. Но надежды все равно мало: задремлешь на минутку — из твоего ружья тебя же и убьют, а тогда, ясное дело, не до коровы. Головы селянские крепки, но и изобретательны. Кто-то приладил над дверью коровника острую косу. Только ступит за дверь чужой человек, натянутся хитро приспособленные веревки, придут в движение тщательно смазанные полиспасты, и коса со страшной силой резанет вору по шее или по чему там уж получится. Еще кто-то навесил над дверью две двухпудовые гири. Уж коли грохнет, от вора только мокрое место останется. Вспоминались всяческие хитрости еще казацких времен. Женщины в один голос настаивали привезти бородавскую ворожею, которая видит и сквозь землю. Сторонни-

ки закона стояли на том, чтобы известить участкового милиционера Воскобойника, а уж он пусть вызывает собаку-ищейку или примет другие меры.

Но пока продолжались споры, воры делали свое черное дело. Коровы исчезали, от них оставалась одна лишь требуха в плавнях, не помогали никакие дядьковские хитрости, и тут даже наитвердейшие души могли впасть в отчаяние.

Спасение, казалось, нашел сельский кузнец Артемон Власенко.

— Цепями перетянуть двери,— сказал он.— Крест-накрест двумя цепями толщиной в руку, а тогда на прогонычи¹ и не запирать, а заклепывать. Вечером я заклепаю, а утром расклепаю — и корова на пастбище. Цепь зубами не перегрызет, станет расклепывать — услышит и мертвый.

Это была уже штука надежная.

Загрели цепи во дворах, началась клепка на ночь глядя и на рассвете. Кто звал Артемона, а кто приноравливался и сам, особенно дядьки побогаче, у которых на все есть необходимый запас.

Неделю было тихо, а потом пропала корова у Трынчика. Коров у него было три, все породистые, молочные, стояли в коровнике, дверь которого Трынчик сам перекрестил толстенными цепями. Цепи остались нетронутыми, две коровы тоже, а третьей не было. Сбежалось полсела, пришел председатель комбеда, прибежал и Дмитро, Петьков отец, председатель создаваемого в селе колхоза. Смотрели, пожимали плечами, разводили руками. Чудеса! И горе, и смех. Как будто бы корову кто-то смял, как дерюжку, и, держа под мышкой, прополз под цепями.

— Может, ее тут и зарезали, а мясо вынесли? — высказал кто-то мысль.

— А кожу и требуху?

— И кожу.

— Так никакого ж следа!

— И крови ни капельки.

— Так, будто корова выпорхнула, как птишка.

— Может, то батюшка сделал ее ангелом?

— Перекрестись! Батюшка старый и уже неспособный.

— Тогда нечистая сила.

— Может, ведьма?

— Да у нас и ведьм уже давно нету. Махновцы как заскочили, всех переколошматили.

— Не махновцы, а банда Маруси ведьм вылавливала.

¹ Прогонычи — болты для ставен (укр.)

Трынчик ходил между людьми, показывал свои руки, битые пальцы, вздыхал:

— Люди добрые! Вот этими же руками заклепывал! Поглядите, все целехонько, а коровки нет. Как же это так, люди добрые?

Случай был непостижимый, противоестественный, таинственный. Но случай остается случаем, когда он один. А когда это начинает повторяться? А в селе стали пропадать коровы из-под таких запоров, как у Трынчика: пропадало по нескольку за одну только ночь, и нигде ни следа, ни знака — загадочность и страх.

Дядьки загудели. Первое подозрение — на братьев Кривокордов. Разве же не находили трубуху в плавнях? Кривокорды, беспрерывно они! Вон какие разбойничьи глаза — так и зырят, так и зырят.

— Не могут они. Никогда не были замечены.

— Не были, так стали!

— А коров как же из-под цепей вытаскивают?

— Выводят!

— Так цепи же.

— Расклепывают.

— Да как никто же не слышит.

— Не слышит? Один валенок наставит, а другой в валенке и клепают.

— Да в валенке же не видно!

— На ощупь. Разве ты не видел, как их Василь выдра ловит в верше? И не видно, и не слышно ничего в воде, а он вершу наставил — и уже выдра там!

Но хоть и падало на братьев подозрение, однако какое-то словно бы незлобивое, больше для разговору, чтобы отвести душу. Вместо этого поползло по селу иное, темное, злое, хищное:

— То созовцы крадут!

— У самих ни черта, так они и других хотят с сумой по миру пустить.

— А добираются до коров как? — сомневался кое-кто.

— Да как! Тряпья своего понаносят и клепают в тряпье. Кто ж это услышит...

— И не убережешься от них, потому как всё видят и всё знают.

Зловещий разговор немало встревожил Дмитра, Петькова отца, и тот кинулся в район. Нельзя допустить, чтобы вот так позорили колхозное дело! И кто же? Кулаки да их подпевалы. Вывести на чистую воду! А для этого непременно найти загадочных воров. Если даже действует нечистая сила, случайно оставшаяся от прежних эпох, то изболочить и

нечистую силу! И — вперед семимильными шагами к окончательной победе!

В районе долго думали (за то время в селе исчезло еще несколько коров) и наконец прислали аж из самих Кобеляк следователя Шапталу.

Шаптал остановился у них, пояснив это так:

— У попа я не могу, так как церковь отделена от государства. А я — представитель государства. Кулаки — мои классовые враги. У вдовы — грех, да еще и жена у меня ревнивая. Вот и выходит — только к председателю.

У Шапталы была бритая голова и портфель. И то, и другое Петько видел впервые. В селе и лысых-то мужиков почти не было, а тут вся голова — как колено! Да еще и портфель. Желтый, из жесткой кожи, два медных замка, щелкающих, как курки у двустволки. Петько только слыхивал про портфели, но никогда еще не видел их и не думал, что они такие. В портфеле у Шапталы было полно бумаг, законов, карандашей, каких-то таинственных причиндалов, вынул он оттуда большой чистый рушник, синюю жестяную коробочку с надписью «Зубной порошок ТЭЖЭ», кусок мыла, помазок, бритву, зеркало — и сразу же, попросив у Петьковой мамы теплой воды, стал намыливать голову и скрести ее бритвой.

— Дядьку, — удивился Петько, — а зачем вы это делаете?

Шаптала весело глянул из-под белой пены на мальчика, блеснул крепкими зубами:

— У тебя мама огород пропальывает?

— Угу.

— Знаешь зачем?

— Чтобы бурьяном не зарастал.

— Вот и я голову скребу, чтобы не зарастала бурьяном.

— А разве у вас на голове бурьян?

— У меня, может, и нет, а у кого-то — и бурьян.

— Так то же у кого-то...

— А я выпальваю все бурьяны. Понял?

Первыми он вызвал братьев Кривокордов. Петько как раз пригнал с пастбища коров, так что мог повертеться неподалеку от следователя, чтобы не прозевать чего-нибудь интересного. Мать зажгла каганец, Шаптала уселся в красном углу, разложил на столе бумаги и законы, отточил карандаш. Кривокорды еле уместились в хате, стали поодаль, подпирали черными головами потолок.

— Прощу садиться, — строго сказал Шаптала.

Братья зашевелились, но с места не сошли.

— Я сказал: всем сесть! — еще строже повторил следователь.

— Да мы и так, — возразил средний из братьев, Захарько.

— Вы должны сесть перед правосудием!

— Спрашивайте уж, не то мы можем и уйти, — спокойно посоветовал ему Захарько.

Шаптала должен был бы загодя расспросить о братьях, хотя бы у Петька, тогда знал бы о них немного больше, а так — одни неожиданно. Он начал что-то писать, потом обратился к братьям:

— Отвечать на все мои вопросы. Прежде всего запротоколируем о ваших личностях. Кто из вас самый старший?

Гаврило выдвинулся чуть вперед.

— Фамилия, имя, отчество?

Гаврило молчал.

— Вы что — не хотите отвечать?

— Да вы спросите меня — я вам все и скажу, — подал голос Захарько. — А Гаврило не разговаривает.

— Он что — немой?

— Чтобы немой, так нет, но неразговорчив. Вы его лучше не трогайте, а то еще ударит.

— Это что — угроза?

— Да я же вам говорю: спросите, если что, меня.

— Ладно. Тогда отвечайте вы. Сначала за него. Итак, имя, отчество, фамилия?

— Кривокорды мы все.

— Год рождения?

— Кто ж его знает.

— Место рождения?

— Да какое же место? У матери все и родились.

— Родители ваши — кто они, где?

— А где же? Мать умерла, когда Василь родился, а отца махновцы зарубали.

— Так вы — Захар? А младший?

Младший, Василь, когда к нему обратился Шаптала, засвистел.

— Ты чего свистишь? — От удивления следователь даже забыл о своем вежливом «выканье» и перешел на «ты».

Василь засвистел еще пуще.

— Вы не обращайтесь на него внимания, — успокоил Шаптала Захарько. — Он у нас такой. Свистит, и все. Если что надо, спросите у меня.

Шаптала стал допрашивать, могут ли они доказать свое алиби, то есть всякий раз с надежными свидетелями убедить его, что в те ночи,

когда пропадали в селе коровы, они, все трое, были где-то совсем в других местах и не могли иметь никакого отношения к воровству.

Василь на такое засвистел еще громче, Гаврило перестал и дышать, а Захарько немного подумал, потом сказал:

— Где мы когда были, того и святой дух не знает.

— То есть? — встрепенулся следователь. — Прошу объяснить.

— А кто ж может знать, когда мы то на рыбе, то за зверем, то к чужой молодежи, иной раз вместе, а то и порознь, а ночи ведь темные и уже длинные, плавни широкие, село большое. Где там чья-то корова, а где ты сам — кто тут разберет?

— Так что же выходит? У вас нет доказательств невинности? Братья молчали. Шаптала пошел им навстречу:

— Буду с вами откровенен. Доказательств вашей вины тоже нет. Есть только подозрение. От вас зависит — опровергнуть его или...

Захарько хмуро усмехнулся:

— А вы поставьте возле нашей хаты милиционера Воскобойника, пусть сторожит, чтобы мы никуда. Тогда и увидите: пропадают коровы или нет.

— Нет у меня милиционеров ставить под каждым кустом.

— Так мы же не кусты.

— Одним словом, я вас предупредил. Вам ясно? Идите, а я подумаю.

Кривокорды ушли, а ночью пропало в селе еще две коровы. И одна из них — опять у Трынчика.

Трынчик ходил между людьми, прижимал к груди руки, чуть не плакал:

— Люди добрые, вы же видите! Пустят меня созовцы с сумой! У самих одни только вши, так они и у нас последнюю коровенку. Люди добрые!

Вечером отец Петька имел крутой разговор с Шапталой.

— На Кривокордов вы напрасно. Тут действует другая сила, — сказал он.

— Может быть.

— Вражеская сила.

— Может быть.

— Да ведь не может быть, а так оно и есть! — вскричал отец.

— Так наведите порядок в селе.

— Легко сказать. Видели, какое у нас село? Километров десять вдоль плавней, там лес, ивняки, омуты, там степь, яры, буераки. Не село, а целое государство, республика!

— Анархия тут у вас, а не республика, — спокойно сказал Шапта-ла. — Порядка нет, вот оно и заколбасилось. А следствие что? Ему ниточка надобна. Есть ниточка — дойдешь до клубочка. Дождь, грязница — тоже легче. А у вас — ничего. Собаки служебной в районе нет. Вызывать из области — куры засмеют.

— Какой тут смех? Тут дело политическое, — сказал отец.

— Может, и политическое.

Они произносили еще какие-то непонятные Петьку слова, но он уже не слышал, уснул, утомленный за день на пастбище, где не так тяжело пасти тех же коров, как из шкоды заворачивать.

Он еще не знал, что ждет его завтра.

Казалось, день как день. Рано поутру, поохивая, обжигаясь холодной росой, — за своими коровами на пастбище, потом погнали стадо на обед за Матвеевский омут, когда же солнце перестало припекать, снова пустили скотину пастись, коровы разбрелись, сколько оком кинь, а маленькие пастухи принялись за свои дела: играли в «гори-гори масло», в жмурки между копнами, вырезывали себе палки и батоги в дубняках, разводили огонь в яме и парили дубовые заготовки для крючков. Когда же к вечеру стали собирать стадо, чтобы гнать домой, не нашли Фенькиной коровы. Петько метался туда и сюда, взбирался на копну, чтобы дальше увидеть, — коровы не было. А возвращаться без нее он не мог. Хлопцы погнали стадо к селу, Петько побежал по плавням искать пропажу. Где искать — этого никто бы ему не сказал. Плавни вон какие широкие, ни конца им, ни краю. Там лозы, там глубоченные балки с омутами. Запасется корова на молодой траве где-нибудь возле Джижиного или Черного омута, возле Задорожневских колдобин — увидишь ее только тогда, когда станешь над теми обрывами. А попробуй обежать всю эту беспредельность! Еще хотя бы день, а то солнце уже зашло, на плавни наплывает чернота, холодные тени бросаются тебе прямо под ноги, все затихает и немеет, только подает голос страх, и он все более громкий и зловещий. Петько на бегу стучал о землю дубовой палкой, чтобы отогнать страхи, которые все ближе и ближе подбирались к нему, он пытался звать корову: «Мань! Мань! Мань!», — но сам испугался своего слабого голоса среди бесконечности притихших трав. Он обежал ближайšie колдобинки, коровы нигде не было, и теперь уже и не знал, где еще ее искать, бежал наобум плавнями, спотыкался, падал, всхлипывал бесслезно, мигом поднимался и гнал изо всех сил дальше, бежал и плакал, плакал и бежал, а тьма бесшумно, но жестоко выступала из земли и становилась перед мальчиком черной стеной. И небо становилось все темнее и темнее, какие-то большие птицы, быстро-быстро взмахивая крылами, пролетели на ночлег, чуть не задевая голову Петька, напугали

мальчугана жуткими криками: «Кла-кла-кла». Потом что-то стало гнаться за ним, страшное, огромное — на все плавни. Гналось беззвучно, скрытно, чтобы он и не услышал. Но Петько чувствовал, что оно гонится, и плакал теперь уже по-настоящему, заливаясь слезами, но молча.

И тут ему послышалось, что где-то мукнула корова.

— Мань-Мань-Мань! — что было силы закричал Петько, забыв и про тьму, и про страх, и про то, что гонится за ним. Остановился, глотнул пересохшим ртом воздуха, прислушался. Мукнуло еще раз, и ему даже показалось, будто он узнал голос Фенькиной коровы.

— Мань-Мань-Мань! — уже почти весело закричал он и побежал туда, откуда слышалось муканье. Пришлось обежать длинную ямищу Митронику и углубиться в Дубину, куда и днем не решались сунуться, но теперь уже Петько забыл обо всем на свете, он звал корову, а она откликнулась и словно бы вела его по невидимой нитке своего отдаленного, приглушенного муканья.

Фенькину корову он нашел в темной чаще, откуда повеяло на него теплым, смешанным запахом молока, жеваной травы, свежего навоза и коровьей мочи, продрался сквозь цепкие заросли, прошуршал дубовой листвой, высочил на крохотную полянку и остолбенел.

Бывает ли дружба между коровами? Никто об этом никогда не говорил, и никогда не слышивал Петько о таком, а вот теперь мог убедиться собственными глазами, что такое существует. Потому что серая Фенькина корова, за которой он обрыскал половину плавней, вправду стояла перед ним, наставляя на него теплое, напасенное чрево, но не одна, а еще с какой-то коровой — черной в белых пятнах, они стояли голова к голове, словно беседуя, как две подруги, только одна стояла вольно, свободно, а другая была привязана к дубу крепким канатом и спутана крутыми холщовыми путами.

Петьково остолбенение длилось лишь миг. Он прыгнул к коровам, погладил под шеей и почесал за ухом свою, потом подошел ближе к привязанной. Она потянулась к мальчику мягкой мордой, вмиг обслюнявила ему плечо, глухо замычала, словно застонала. Видно, не выдоена, не напоена. Но не об этом думал Петько, избегая настырного коровьего облизывания. Что ему было тут думать-раздумывать, когда он узнал корову!

То была та самая Трынчикова корова, которая вчера ночью таинственно исчезла, проведенная неведомой силой сквозь железные цепи на дверях коровника.

Кто ее сюда привел? Кто привязал? Долго ли еще продержит тут несчастную скотину?

Петько бросился развязывать корову, но канат был такой толстый и узлы такие тугие, что не поддавались его пальчикам. Про путо нечего уж говорить: оно было как железное.

Что же он должен делать? Бежать побыстрее домой, сказать следователю Шаптале, отцу? А Фенькина корова? Да и страшно одному в плавнях. Вдвоем с коровой не так страшно. С двумя было бы еще лучше, да вишь...

Он снова погладил Фенькину корову, тихо позвал: «Мань-Мань» — и, обнимая за шею, насколько хватало руки, попытался увести ее, отрывая от подруги. Корова послушно пошла за ним с тихим вздохом, в котором слышалось удовлетворение. Тоже была не доена, и молоко уже, наверное, распирало ей вымя.

Выбравшись из чащи на вольный простор, Петько попробовал приохотить корову бежать трусцой, и она снова послушалась, не отставала от него, тепло дышала ему в шею, тяжело чапала копытами по траве: «човп-човп!». Снова словно бы что-то большое и страшное гналось за ними, но теперь уже Петько не боялся, потому что корова была еще больше того, что гналось за ним, а еще он ведь не просто удирал, а торопился с чрезвычайной вестью домой, к тому следователю с бритой головой и кожаным портфелем.

Отец со следователем как раз ужинали. Ели яичницу на сале, которую Шаптала, побряхтывая, запивал простоквашей. Он наливал ее в кружку прямо из обливного кувшина, видно, только что принесенного мамой из погреба, пил и облизывался, и Петьку и самому захотелось промочить пересохшее горло.

— Кор... Корова!.. — еле вымолвил хлопец.
— Что за корова? — поднял голову отец.
— Трынч... Трынчикова.
— Трынчикова?
— Та, что пропала.
— Ну! — Отец отодвинул тарелку, глянул на Петьку глаза в глаза. — Что ты мелешь?
— Нашел... Я ее нашел.
— Где? — вскрикнул отец, выскакивая из-за стола.
— В Дубине, за Миронихой.
— Не может быть.
— Все может быть, — прикончив простоквашу, спокойно сказал Шаптала. — Может быть все. Давай, Петько, по порядку. Ты как? Сам видел?

— Видел.
— Давно?

— Только что прибежал оттуда.

— Это далеко?

— Та... далеко.

— Как ты — туда?

— Искал Фенькину корову. А оно темно. Не видно ничего. А она замукала. Не Фенькина, а Трынчикова корова. Наверное, не доена. Может, и не поили.

— Так. Не доили. Не поили. Ты оттуда как? Быстро?

— Прибежал. С коровой.

— С коровой? С чьей?

— С Фенькиной.

— А та, другая?

— Привязана. И спутана. Я не смог развязать.

— Зря ты с этой коровой. Надо было одному. Чтобы быстрее.

— Так страшно же одному.

— Ну, теперь не бойся. Так. Хорошо. Дмитро Панасович, ты со мной, так? Нужны понятые. Немедленно. И туда. Поведешь нас, Петько? Попадешь туда?

— Чего бы не попасть? Сколько раз купался в Миронихе, да еще и не попасть.

Назад к Миронихе Петько не бежал, а летел на крыльях! Не за ним гналось — он гнался, и ночь не пугала чернотой, а была зеленая, как трава в плавнях. Теперь он не боялся — пусть боится все то страшное и неведомое той силы, какую он ведет за собой. Отец с двустволкой, трое понятых с вилами, у Шаптала, пожалуй, есть наган, хотя он его, правда, и не показывал, но непременно должен быть, раз есть наган у милиционера Воскобойника.

Сельские дядьки умеют и ходить и бегать неслышно, особенно же по траве, но Шаптале все почему-то казалось, будто они слишком топаят сапогами, и он знай остерегал: «Тише! Еще тише! Кто там дышит так громко!» — и сам себе бормотал: «Успеть бы! Главное — успеть!»

Они успели. Корова еще стояла привязанная, нигде никого — отвязывай, распутывай пута, веди. Но все произошло совсем не так, как представлял себе Петько. Шаптала попрятал всех в кусты, разместив так, чтобы к корове никто незамеченным проникнуть не мог, и строго приказал затаиться. Ни курить, ни разговаривать, ни кашлять, ни даже дышать. Сам следователь замаскировался рядом с Петьком, хотя зачем тут и маскироваться, когда и так темно — хоть в око стрель.

Сидели долго, Петьку даже надоело, и он тихо спросил следователя: «А кого мы подстерегаем?» «Цыц!» — коротко кинул ему Шаптала и

крепко сжал мальчику плечо. Как взрослому. Кому такое не понравится?

Ждать пришлось долго. Может, и за полночь. Но оказалось, что следователь всё рассчитал точно. Их глаза так привыкли к темноте, что каждый уже видел, как днем. А тут еще помогла и корова, замукав, очевидно, навстречу какой-то знакомой душе. В самом деле, вскорости на полянку проскользнула темная фигура, звякнуло ведро, послышался мужской голос. Мужчина что-то говорил корове, но Петько уже не разобрал, потому что Шаптала вместе с отцом бросились к тому темному человеку, за ними — понятия с вилами. Петько, ясное дело, не отставал, он мог бы поклясться, что у следователя в руке был наган, и странно было только то, почему Шаптала не стрелял, ну хотя бы один раз, вверх, для большей остротки, однако выстрела не было, может, не было и нагана, об этом впоследствии Петько забыл и не вспоминал.

Врезалось ему в память, как отец и Шаптала схватили того темного человека с двух сторон, как отец почти застонал: «Вот же гад!» — а следователь спокойно спросил:

— Гражданин Трынчик, что вы тут делаете?

— Я? — кротким своим голосочком переспросил Трынчик. — Что делаю тут? А вот, извиняйте, травушки коровке...

— А ведро?

— Подоить. Чтобы скотинка не мучилась.

— Так. Значит, вы знали, что ваша корова тут?

— Ну, когда скотинка мучается...

— Подоить? — зашипел отец. — Может, хотел напоить молочком голодных созовцев?

— Дмитро Панасович, — забормотал Трынчик, — Дмитро Панасович...

— Молчи, контра! Гад ползучий! Созовцы такие и растакие, а ты святой да божий... И все вы мироеды проклятые! Хотели бросить на нас такой позор! Говори: куда коров спроваживали? Признавайся!

— Дмитро Панасович! Как перед богом!

— Говори без бога!

— На хутора, Дмитро Панасович. И не я же начал, не я. Это уже на меня насили. А я и говорю: люди добрые...

— Молчи, тихий да добрый!

— Гражданин Трынчик, — спокойно произнес следователь Шаптала, — вы задержаны как виновный в преступлении, направленном на подрыв Советской власти и колхозного строя.

И, произнося эти слова, он дружески сжимал худенькое Петькино плечо, отчего Петьку становилось так приятно на душе, как будто ему дали выстрелить из настоящего нагана, хотя он так и не мог бы сказать наверное: был у следователя Шапталы наган или не было?

ГОПАК ПОД ВИСЕЛИЦЕЙ

И через двести пятьдесят лет не потускнела мрачная яркость этих красок.

Хотя сооружение из свежееотесанных досок было окружено широким, тусклым обручем крестьян в армяках и сермягах, за которые глаза не зацеплялся, зато кольцо стражников и пилиповцев¹ сверкало на осеннем солнце такой вызывающей резкостью колеров, будто кричало что было силы своим панам: «Вот мы! К услугам и к послушанию».

Сами же паны толпились на краю высокого помоста, и уж тут краски так и кипели, переливаясь всеми оттенками кровавости — от наигустейшего, притемненного до ярчайшего, прозрачного, точно огонь. Правда, у ясновельможного пана Притыки кунтуш был салатовый и подшит белым аксамитом, но пояс на нем из турецкой тафты алый, и шапка, отделанная мехом черного барана крымского, хоть и гранатовая, но кровью отсвечивало и от той гранатовости. Сабля у пана Притыки висела на лентах шелковых, темно-красных, как бычья кровь, щеки и нос ясновельможного тоже имели в себе достаточно этого цвета. Пан судья был в кунтуше пурпурном, сагетовом, писарь красовался в жупане гродеторовом розовом, белой китайкой подшитом, у войта был жупан гранатовый суконный, а возный поверх зеленого кунтуша накинул еще просторный охабень цвета свиной крови.

Посреди помоста было еще двое, и тоже в красном, только цвет их одежды казался уж и совсем понурым, поскольку над ними, задрвав безжалостную деревянную шею, возвышалась виселица, а с нее свисала новая веревка с тяжелой петлей на конце.

У одного из тех двоих руки были связаны за спиной, что указывало на его обреченность.

Это был казак. И не просто казак, а казачина, казарлюга, казачище! Шапка, как епископская митра, шаровары локтей на тридцать алого сукна, малиновый пояс вокруг стана в две четверти шириной, жупан кармазинный, как жар красный, до самой земли, с пуговицами из чистого золота, чёботы красного сафьяна, с серебряными подборами.

Казак шевелил усом и глядел в небо. На людей в сермягах смотреть не мог, поскольку их заслоняли панские лакеи, на панство — внимания не обращал, а на того, что стоял рядом с ним, не пожелал бы и плюнуть. Потому что то был палач. В длинной красной сорочке и вытертых штанах, без шапки и босой. Палач, точно кот, без сапог ходит. Казак еще заметил, что ноги у палача грязные. Можно было бы посоветовать

¹ Пилиповцы — дворовое войско у украинских помещиков в XVIII веке.

этому безумному ноги помыть хотя бы ради такой оказии, да лень. Вот так и стоял казак и глядел на небо.

Между тем пан судья стал читать приговор. Длинный, занудливый и комичный — казак даже усы раздвинул в улыбке. Должен бы в печали и вздыханиях изготавляться к близкой смерти неминуемой, а он, вишь, смеялся. Да и имя имел — только для смеха и дерзости: Перекрест.

— «Перед нами поставлен Иван Перекрест, вожак гайдамацко-казацкий, по злему делу уловленный и к суду припроваженный, — вычитывал судья из бумаги, поддерживаемой писарем. — И поставлен инкарцератом против ясновельможного пана Притыки, официала тетеревского, и его малжонки пани Зузанны Притыки... *aviae, haeredissae, in se manifestantes devoluto*¹ в тот нижеописанный способ о том, что в нынешние несчастливые времена и замешательство в державе, права вшистки, записи, документы на имения в Радомышле, Народовичах и других местах, разные мембраны, карты, реестры, ассекурации из-за гульятяских наездов в руинах погибли. Якоже этот Перекрест, казачишка худой, со своевольными людьми и гайдамаками своими, на имение ясновельможного пана Притыки напад, года нынешнего тысяча семьсот тридцать четвертого, на Троицу, самого урожденного ясновельможного пана Притыку, нынешнего протестанта, во дворе взяли, связали, за шею постромкой водили, били, также и самое ее, ясновельможную пани Зузанну Притыку, малжонку своего обороняющую, обухами, канчуками, копыями били, искалечили, руку левую перебили, окровавили, сундуки поразбивали, платье, все имущество движимое, также и деньги позабирали, коней у ясновельможных забрали, челядь и людей дворовых поразгоняли и, тем не довольствуясь, связанного за шею постромкой протестанта, избитого и искалеченного, на пасаку запровадили и там копыями, ногами, коленями, кулаками насмерть забивали, мордовали, с ножом к груди разгоняясь и по несколько раз примеряясь пробить и насмерть убить силились, а так напоследок об остальном имуществе своем протестант должен был поведать, и те всё забрали и пограбили; в котором наезде и грабеже те все права, бумаги, записи и документы забрав, в винокурне собственной протестанта в печь котельную побросали и дотла попалили, меж коими бумагами долговое обязательство на злотых пятьсот от ясновельможного пана Казимира Пиотровского, товарища хоругви панцерной ясновельможного пана кастеляна волынского, старосты брацлавского урожденному Притыке, протестанту, дана и действующая была и тогда сгорела...

¹ Старшей, наследницы, обвиня (лат.).

О чем их ясновельможные протестанты своим именем, quam sole-
nissime manifestantur et protestantur¹.

Инкарцерат Перекрест пойман живым, когда его разбойную ватагу надворной стражей одного в лоб, другого в шею, третьего в затылок по-
стрелено, а остальные разбежались, и теперь, поставленный перед судом добровольно и корпорально инквизициями, признал все такими словами:

«Я, Иван Перекрест, родом из местечка Кишеньки, года забыл ка-
кого, нанялся погоньчем в Крым к Киянице Яцькову, за солью едущему,
где, возвращаясь назад, остался в Сечи и проживал в Сечи лет три, а по-
том пошел на свой хлеб. Служил у Губы Кисляковского, был в неводе
за половинщика, железа зимой на волка ставил, потом перенесся из Лу-
га на Бог-реку, там ловил рыбу год один, тогда перешел в город Кодак,
был подьесаулом у Диодора Сёмака, там перезимовал и побился с писа-
рем Грыцьком. Бежал в монастырь Софийский к отцу Демьяну...

Там спознался с беглыми казаками, которые признались ему, что
должны напасть на панов. Отец Демьян, оных поблагословив, дал
стрельб четыре ручных, пороху купил за золотых одиннадцать, олова за
золотых шесть и отпустил, дабы собрали большую кучу. И собрали тогда
Микиту Щербину, Хведора Горба, Тимоша Котляра, Грыцька Похилого,
Семена Подкивку, Хведора Пучку, Семена Загубия, Ивана Минзавку да
и еще. Подались ко границе польской и, перейдя граничную реку Ир-
пень выше Гостомля, ночью скрытно добрались до Горностайполя, до-
шли до Приборска и там ограбили попа, а у старосты тамошнего взяли
сермяги, пороховницу, пистолы, вольчью шкуру. Там же, на реке Тетере-
ве будучи, двинулись к Сукачеву, оттуда на реку Звягель к Народичам, и
там ворвались в имение пана Притыки, где простолюдины просили и
подговаривали казаков, дабы Притыку избили, яко же весьма злой. Че-
тырех панских лакеев скололи, панским пилиповцам стрельбу полома-
ли, немного собрали там добычи, в лесу выкопавши яму, добычу вложи-
ли и на том месте костер разожгли. А уж тогда до самого пана Притыки
доскочили и молвили: «Пан, дай, ибо имеешь». Суд, контroversы сторон
выслушав и оные уразумев, поневаж яко из выявленных добровольных,
так и из отобранных пытками инквизиций, Ивана Перекреста провинно-
стям криминальным подлежащим признает и велит, чтобы за упомяну-
тые эксцессы исполненных убийств и грабежей оный Перекрест на ви-
селице жизнь свою единомоментно закончил, то есть Перекреста того
uti infamen, per publicum justitiae ministrum suspendendum censet, et pro
executione ad iudicium quodvis civitatense remittit».

¹ Торжественно обвиняя и возмущаясь (лат.).

Дочитав эти непонятные слова, пан судья вздохнул и с облегчением достал из-за широкого обшлага большой бурый платок, вытер широкое свое лицо, надул щеки, сделал губами «пуф! пуф!», сказал, ни к кому не обращаясь:

— Как говорится: суд признал сего злодея *capitis sententiavit*¹.

— То уже можно и кончать с тем разбойником? — хриплым басом спросил пан Притыка, еще пуще багровея толстыми щеками.

— Христианская душа, надо бы к исповеди, — несмело напомнил войт.

— Отказался, — пояснил возный.

— Тогда что же?

Пан судья объяснил:

— Должны спросить о последнем желании.

— Так спрашивайте! — загремел Притыка.

— Пан возный, — велел судья, — подойдите и спросите.

— Можно и отсюда спросить.

— Нет, подойдите, мы есмь суд, а не какие-нибудь вульгарные убийцы.

Пан возный ступил к казаку, взмахнул откидными рукавами своего охабня, топнул ногой о помост:

— Есть у тебя последнее желание?

— Не топай — помост проломишь! — сверкнул зубами Перекрест.

— Воля последняя есть? — крикнул снова возный.

— А почему бы и нет?! Гопака хочу ударить перед смертью!

Возный попятился к панам. Передавать Перекрестовы слова не было нужды: все слышали и так.

— Попросил бы люльку выкурить, — произнес войт, — все бы смерть чуток отодвинулась.

— Кварту горилки должен был попросить, дурень, — хмыкнул пан Притыка. — А ему плясать!

— Закон позволяет, — заметил судья.

— А не сбежит? — обеспокоенно спросил писарь.

— Куда? Уставлено все стражей — мышь не прошмыгнет! — успокоил его (да и всех) войт.

— Так пусть уж тот дурень попрыгает, — надул губы Притыка.

— Эй ты, можешь танцевать! — крикнул Перекресту возный.

— Ова! — презрительно хмыкнул тот. — А руки? Какой же гопад со связанными руками? И этого безухого отодвиньте из-под петли, а то еще впрыгнет туда вместо меня!

¹ Здесь: казнить (лат.).

Палач по знаку судьы развязал Перекресту руки и отошел на противоположный край помоста.

Перекрест поставил правый чéбот на каблук кверху носком, словно бы повертел доску помоста, потом легко пристукнул по ней каблуком, потом прыгнул, ударил обеими ногами, пошел кругом, пошел впрысдыку в частом перестуке, внезапно срывая свое мощное тело кверху и снова бросая его вниз, все ожесточеннее и безжалостнее, тяжелее и неистовее.

— Да он тут убьется и не дастся повесить! — крикнул пан Притыка.

— Этот не убьется, — успокоил его войт. — Волков в железа ловил — куда ему убиваться.

— У хлопства такие дикие души, — хмыкнул пан писарь. — Попопачит — и все его счастье.

— К счастью все стремятся, — глубокомысленно заметил пан судья. — Человек пальцем не пошевелит без мысли о счастье.

— И под виселицей? — захохотал пан Притыка.

— Так, так, пан Притыка. Это мотив действий всех людей.

— Даже перед повешением?

— Вообразите себе, даже перед пове...

Договорить судья не успел, так как именно в этот миг Перекрест, взлетев в отчаянно высоком прыжке, ударился о помост перед самой виселицей и... исчез с глаз.

Он исчез неслышно и страшно, как будто унесло его ветром (если б же был ветер!), смыло дождем (а где тот дождь в золотистое осеннее утро?), сожгло огнем небесным (огнем блестела разве что одежда Перекреста, пока казак летал перед ошеломленным панством). Пан Притыка только хватал воздух раскрытым ртом, не в силах выжать из себя ни звука. Писарь мстительно потирал руки (он ведь предупреждал, предупреждал!). Судья морщил широкий лоб, наверное, пытаясь вспомнить, не бывало ли у него таких прецедентов. Возный по-бараньи усталвился в то место, куда ударился Перекрест и где теперь чернел пролом в помосте, и только войт с сугубо крестьянским спокойствием медленно подступил к пролому, обошел его вокруг, взглядываясь, нагнулся и пощупал края досок, отряхнул руки, сказал спокойно:

— Доски снизу подпилены.

— Что? Как? Кем? — загремел, приходя в себя, пан Притыка.

— Кто подпилит, того уже нет. И казака нашего нет.

— Вытащите его оттуда! — затопал Притыка.

— Так провалился!

— Из-под помоста достать!

— Он и сквозь землю провалился!

— Провалился? Куда?

— В подкоп. Пожалуй, до самой речки. Уже, наверное, в лозниках и прыгает на подведенного ему коня.

И впрямь Перекрест был уже в лозах у реки, проскочив до самого берега древним подземельем. Микита Щербина, выскользнувший тогда из засады, все устроил. И помост над забытым подземельем, и подпильенные доски в помосте, и гопак под виселицей — только танцуй прытко, Перекрест, дай волю каблукам, каблукам волю дай! С такими друзьями свет широкий — воля!

И уже скачет конь, и бьют копыта, и земля мягко несет всадника и коня к жизни и к воле.

...Гай-гай, если бы это в самом деле могли спастись так или иначе все те, кого когда-то вешали, стреляли, резали, сажали на колья, сжигали живьем!

А тут — это только игрушка, которую мне показывал доброжелательный мистер Руткивский в пенсильванской украинской лавке «Кобза».

— Имейте наши национальные сувениры, — чванился мистер Руткивский.

— И этот национальный?

— Да, прошу пана, наша история с американской электроникой. Игрушка электронная. Тут в основание вмонтирован компьютер. Дорогая игрушка, стодолларовая, да разве же наша история не стоит того?..

Я не стал допытываться у пана Руткивского, чью историю он имеет в виду, поскольку все же был здесь гостем. Но что-то тут меня смущало, я чувствовал, что должен сказать мистеру Руткивскому нечто очень важное, а пока прикоснулся к игрушке пальцем, прикоснулся без какого-либо намерения, но этого было достаточно, чтобы мистер Руткивский схватил игрушку обеими руками, поднес ее чуть ли не к моему лицу, воскликнул приветливо:

— Да вы разглядите ее как следует! Прошу вас, это ж такая вещь!

Сооружение весило немало, поскольку мистер Руткивский побагровел от напряжения, как тот пан Притыка на помосте, я подставил руки, вдвоем мы, не рассчитав усилий, подняли игрушку уже и слишком высоко, и тут я заметил снизу какую-то знакомую надпись, совсем неуместную и, собственно, невозможную, абсолютно противоестественную на этой игрушке, которая должна была бы называться украинской, да еще и национально-исторической, я подтолкнул игрушку еще выше и теперь уже отчетливо прочитал: «Made in Japan».

Глазами я показал мистеру Руткивскому на ту надпись, помог поставить громоздкое электронное диво на специальный (тоже из Японии?) столик.

— Это правда? — спросил я у хозяина. — Из Японии?

— Разве я знаю, откуда товар? — пожал он плечами. — Мое дело продать. Пан разве против коммерции? Ваше государство против?

— Но заказывать эту так называемую историческую игрушку аж в Японии?

— Ну и что? Это Америка, прошу пана. Мои мама и тато с Украины, но я американец. Хочет пан, то я расскажу еще и не такое. Был при президенте Эйзенхауэре — я там знаю? — госсекретарь Даллес Джон Фостер. Пан знает? Ну так. Собирает Даллес у себя газетчиков, говорит им про Америку и про все наше. На столе у него — бюстик президента Линкольна. Мы все за свободу, как Линкольн. Кто может иметь что-либо против? Один из газетчиков берет тот бюстик, вертит его в руке, смотрит, а снизу такое же: «Made in Japan». Тоже японцы, прошу пана. И Линкольна сделали, чтобы продать американцам. Потому что коммерция есть коммерция!

— Мне лично такая коммерция не весьма, — сказал я.

— Но чем, чем, прошу пана?

— Попахивает кровью.

— Да какая тут кровь? Этой крови свыше двухсот пятидесяти лет!

— Кровь остается кровью, пролита она двести пятьдесят или тысячу лет назад. И ни зарабатывать на ней, ни играть ею...

Мистер Руткивский, склонившись над сто долларовой игрушкой, возился с мини-компьютером, наверное, запрограммировывал его на новый гопак под виселицей, и ничего не ответил на мои слова.

Двести пятьдесят лет не смогли пригасить угрюмой яркости кровавых красок нашей истории.

СОДЕРЖАНИЕ

Ключ от сейфа	3
Мелания Андрофонос	16
Дух Чингисхана	33
Коровий детектив	44
Гопак под виселицей	56

Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ
КЛЮЧ ОТ СЕЙФА

Редактор Е. Ф. Олейник

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 16.10.86. Подписано к печати 5.01.87. А 00301. Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,05. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 80000 экз. Изд. № 58. Заказ № 3926.
Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва А-137, ул. «Правды», 24.

● ПРЕДЛАГАЕТ ПРОКАТ

Кинокамеры и кинопроекторы,
фотоаппараты, увеличители,
бачки, кюветы
и другие фотопринадлежности
предлагают на любой срок
фото- и кинолюбителям
салоны и пункты проката.

Росбытреклама